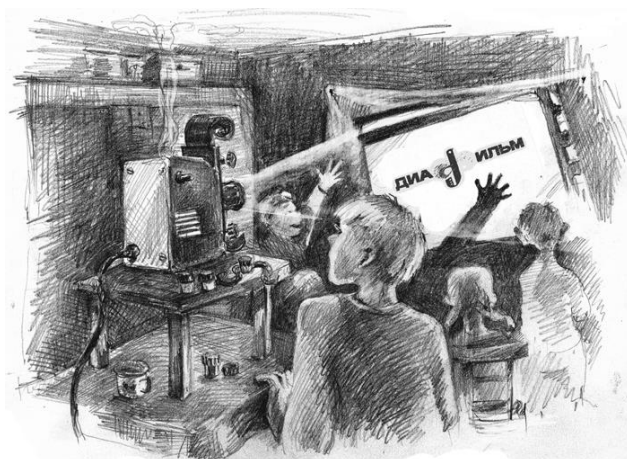


Н.Иванов

КОЛЬКИНО ДЕТСТВО



рисунки:

Герман Карпов

1

ПОСЁЛОК

Посёлок, в котором я родился, научился ненавидеть манную кашу, материться и курить, никак не назывался. Не было у него названия. Никакого. Только номер. 19.

Зона, рота, биржа - вот и весь Девятнадцатый.

Зона - только "экслюзив" - четыре города: Питер, Москва, Ростов-папа и Одесса-мама. Сидельцы только - "тигры".

Одно из самых больших неприятных удивлений детства - году в 75-м Зона резко, буквально на глазах "помолодела". На смену «сизженным – пересижженным» бывалым паханам вдруг толпами стали поступать молодые, с пустыми холодными глазёнками, уркаганы. К нам они интересу не проявляли, на контакт не шли. "Пиздани у мамки заварки и таблеток каких-нибудь" - не считается.

Сильное воспоминание - "Калина красная". Крутили в клубе раз двадцать. На кадрах, где Шукшин, схватившись за ватный бок, оседает на землю, кто-то метнул заточку в экран...

Побеги! Отдельная тема. Расскажу как-нибудь.

В роте ничего интересного. Сто двадцать южан, в посёлки их звали «чурками», с акаэмами и дюжина толстожопых прапоров. Мой одноклассник - сын командира. Патронов и значков сколько хочешь! Стрельбы три раза в неделю в тайге за посёлком. Потом, после школы, с подсумками из кирзачей - собирать пули. Выковыривать из земляного вала. На руках цыпки. Вазелин. Вышел из дома - вытер об штаны.

Школа - изба посреди посёлка. Две, с кривыми, скрипучими полами, комнаты. В одной из которых - в три ряда три парты. С откидными досками, с прорезями для ручек и чернилниц. Первый ряд - первый класс, второй - второй, третий, соответственно, третий. Учительница одна. Помню. Татьяна Степановна.

И, наконец, ДОРОГА! Она в моей жизни была всегда. А на Девятнадцатом она была одна. Железная. Других там не было вовсе. Только тропки какие-то.

Здорово было шагать по вонючим шпалам, а потом, остановившись, медленно повернуть голову сначала Налево - там не было ничего, только шум, лязг и грохот - Биржа. Оттуда вывозили лес.

А, потом - Направо. Там было ВСЁ. Там был весь МИР, который мне ещё только предстояло освоить.

Оттуда два раза в день, утром и вечером, приходили пустые составы, влекомые чудовищных размеров паровозами.

2

Сначала чуть подрагивали рельсы.

Среди нас были знатоки, которые, прижав на мгновение ухо ко всегда холодной стали, безошибочно могли отличать ФЭДов от других, более старых моделей.

Потом предрассветную или вечернюю мглу разрезал истошный луч прожектора. И, уж только, после такой вот увертюры - лязг, дым и весь оставшийся положенный грохот.



Перед приходом поезда пули, выковырянные накануне из стрельбищенской насыпи, аккуратно раскладывались по рельсам. У каждого было своё место. Тяжеленные составы охотно давили их со всей беспощадностью, а мы, дуча на пальцы, не давали остыть причудливым, ни разу не повторённым фигуркам...

НОВЫЙ ГОД. ПОЖАР

Нас - детей в посёлке было всего шесть человек.

На такой вот факт можно было, поправив мохеровую шапку, сказать что-то вроде: "Бедненькие! Как же вы тут?" , ну или цикнуть сквозь фиксы коричневой слюной в костёр: "Шесть абортс проебали!"

Не суть. Нам было здорово, вполне уютно и не обидно. За всё своё там детство я ни разу не складывал пальцы в кулак.

Накануне Нового 75-го произошли какие-то изменения в системе, и без того бездарно-организованного, снабжения. ОРС разосрался с УРСом или наоборот, не помню. Мои родители, в отличие от остальных взрослых, к Зоне непосредственного отношения не имели и под общую кормушку не попадали. Я сей факт впервые осознал на том самом новогоднем

3

утреннике, устроенном для нас бесконвойниками в зонавском клубе. Вышел это, значит, Дед Мороз, говорит давайте, мол, поцики, бациллу отрабатывайте. Ну мы там, кто стихи, кто песню, а потом, понятное дело, к мешку. Всем по кульку из серой бумаги. А мне «балалайку». Не понял, говорю. Позвали тётку конторскую. Она в шиньоне шпилькой ковырнула и развела нас: не положено, мол, тебе, у тебя родаки не в нашей, короче, системе! Во, дела... Ну соратники-то мои со мной поделились всем конечно. И "Ласточка" и вафли "Пионерские" и даже мандарин надкушенный - всё это мне досталось в конце-концов...

А ночью кто-то зону поджёг. Тушили всем посёлком. А я не тушил. Мог бы. Прямо слезами обиды своей давешней так и залил бы её всю. А не стал. Стоял на насыпи просто и, стиснув зубы, шипел сквозь слёзы: "Ненавижу вас суки поганые! У меня всё будет! В рот вам нехорошо!"

ПРО ХЛЕБ, ЗИНКУ И ДУЭЛИ

Такого хлеба я больше никогда в жизни не ел. Невозможный был хлеб! От одного запаха начинала кружиться голова. Буханки были огромными и стоили 42 копейки. Глянцевая коричневатая корка нависала лихой грузинской фуражкой. На буханку можно было сесть, потом быстро встать, а он, хлеб, тут же принимал свою прежнюю форму. Сам мякиш был неимоверно-белым и ноздреватым, с огромными, как в швейцарском сыре дырищами.

Поселковой пекарней заправляли бесконвойники. Человека четыре. В огромных сверкающих чанах они месили тесто прямо своими синими исколотыми ручищами. Когда очередной приступ голода настигал нас где-нибудь в лесу, мы, сломя голову, наперегонки, мчались на запах. До автоматизма отработанный жест - левая рука ладонью вверх, а по ней ребром правой руки вжик-вжик. И не надо было никаких слов. Без лишних благодарностей, с пылающими обломками, только что вынутой из печи, буханки за пазухами мы возвращались к своим игрищам.

Во всей моей следующей жизни мне только один раз показалось, что я снова почувствовал волшебный запах Того самого хлеба.

Сменил очередную квартиру в Гамбурге и, на следующее утро, отправился знакомиться с ближайшим булочником.

Нет.

Показалось...

А в магазин за хлебом отправляли исключительно нас. Детей. Лет с четырёх эта процедура вменялась в обязанность. Не скажу, чтоб родители наши слишком сильно рисковали, но внешним видом «принесённого» довольными они оставались не всегда. Мы не спешили по домам. Дел и забот у нас хватало. И в делах и заботах этих хрустящая корка-фуражка и углы буханок стачивались напрочь...

4

В магазине царила Зинка. По утрам на заплёванное крыльцо с грохотом падал железный засов и, спустя мгновение, гвозди-шампанское-хлеб были готовы к реализации.

Одна из любимейших наших забав - проорать за магазином в пустую вонючую бочку из под ржавой селёдки: "Кто украл ключи от магазина?". Безотказное эхо тут же с готовностью выдавало предполагаемую виновницу: "Зина, Зина..."

Зинаида не обижалась. Она вообще была необидчива. В своей белой наколке на шиньоне, с губами цвета балканской розы покоя она лишала многих. Говорят, из-за неё даже стрелялись. Два молодых прапора из своих табельных макаровых в тайге за биржей. Выстрелы слышали. Было дело. Но оба вернулись целыми. Ещё говорили, что на зоне Зинку всё время проигрывали в карты.



От такой невероятной популярности бесспорная зинкина красота буквально на глазах начинала блёкнуть и стираться как модный гэдэровский ластик.

Дочь Зинаиды - Катя, подарок заезжего снабженца, была слишком мала для наших игрищ, но уже достаточно сознательна для ночных акробатических этюдов матери и, поэтому частенько сдавалась соседям.

Однажды, когда Зинку сильно порезал какой-то упырь из поселенцев, Катя жила и у нас...

5

ВятЛаг

Когда я родился, моя мама уже была учительницей. Самой обыкновенной.

Ученики у мамы были необыкновенные.

Оценки за поведение им, каждому в отдельности, были расставлены по УК РФ.

Мама работала "на зоне". В вечерней школе для заключённых. Или попросту "эков", как их тут в 19-м особом Лаг.Пункте Вят.Лага и называли.

ВятЛаг один из самых страшных "островов" жуткого «Архипелага ». Страшных потому, что до сих пор продолжает оставаться белым пятном на ГУЛаговской карте. Тут до сих пор зоны.

Нет, сидят в них уже не раскулаченные мужики с Волги и не «политические» из больших городов. Вон Толик-«фото на эмали» - за убийство жены и её хахаля , раньше положенного из рейса вернулся. Художник из Питера Зуев тоже с ревностью не справился, «Червячина» из пожарки за...Да нет, так-то тут все по делу. Печальный край. Огромный. Бенилюкс, мы с пацанами замеряли, спокойно помещается и ещё место остаётся.

Вообще этот медвежий угол земли вятской идеальное место для наказания человека. Короткое, комариное лето, лютые, снежные зимы. Из огородного – только картошка, да и та яйца куриного не больше. Но вот уж грибов, ягод – это да! Ещё не всякие берут. Балует Тайга своих поселенцев. Легенда есть, что в далёкие, петровские времена приказные люди по делам демидовским тут проездом были. Царю доложили потом – «никак невозможно жить в краях тех». А легенде этой реальное подтверждение есть. Вот, как вы думаете, из какой страны больше всего запросов в архиве вятском историческом накопилось? Да я бы и сам никогда не угадал. Из Швеции! Крепко Пётр Алексеевич на соседей своих северных тогда приобиделся. Пленных шведов сюда и отправляли. Тут и сгинули они. Потом уж и более достойных людей тут «прописывали». Сначала, «разбуженного декабристами» Герцена этапировали, а спустя пару лет и Салтыков-Щедрин подтянулся, многие, кстати, всерьёз полагают, что город Глухов его это и есть она самая – наша Вятка. Местные обижаются, а по мне так очень похоже. Но эти ребята в самой Вятке отбывали, а до нашей-

то тайги от неё ещё «семь локтей по карте». Вот будущего «Феликса железного» за все его выкрутасы аккуратно в то место определили, в котором я потом, в свою школу-интернат пойду. Только Эдмундовичу как-то тут сразу всё очень не понравилось и ранним августовским утром кинул он шинелку свою на дно лодочки-плоскодонки, да и сплавился по-тихому. Но местечко-то запомнил видимо крепко и упырям-товарищам своим во всех красках описал. И застонала в тридцатых тайга наша нетронутая, ошетибилась вышками, залаяла-загавкала тысячами собачьих пастей, присела под терновым венцом километров колючей проволоки...

6

Зачем и как сюда приехали, и тут остались, мои родители я не знаю. А вот как отсюда уехать уже знаю. Сначала дрезина.

Вон она, с ржавыми боками, стоит у пакгауза. Здесь всегда противно пахнет кислой капустой, рыбой, мазутом от шпал и дымом с биржи. В самой дрезине – лавки по периметру, буржуйка посередине, летом-то чего её топить. Поехали. Прыгает, качается дрезина на убегающих в Свободу рельсах. А вот гулко под колёсами сделалось – мост через Иму.

Вода в ней красная от торфа, ледяная всегда. Высокий иван-чай бежит по песчаной насыпи машет нам вслед лиловыми ладошками, мелькают сосны, телеграфные столбы играют в догонялки. А вон, вон тот столб, на котором дядя Витя Большов помер! Так же вот с дрезины и заметили. Ту-тух, ту-тух стучат стальные колёса, впереди Раздельная. Здесь ждать поезда до Лесной.

Дрезина тормозит, почти останавливается. Коля-«Одесса» прыгает на ходу, топчет своими сбитыми кирзачами, обгоняя нас. Стрелка. Тяжеленую гирю рывком вверх и до отказа вправо. Острые на концах, последние рельсы нашей «сосновской» ветки послушно сходятся с основной вятлаговской магистралью.

«Фарватер наш, в натуре!» - запрыгивает на ходу Коля. Дрезина снова набирает ход. За нами уходящая за горизонт кривая просека с блестящими на солнце рельсами. Там, за нами, и всё дальше от нас Октябрьская, Турунью, Кажимка, Пелес, Бадья, Ньюмид, Крутоборка. Всё это зоны, зоны, зоны...

Открытый семафор, два состава порожняка, тётка в грязном оранжевом жилете. Дрезину мотает вправо, уходим на запасной. «Дамы и господа, Раздельная-сити!» - скалится железным ртом Коля-«Одесса». Поселковые пассажиры спиной к выходу шарят ногами в поисках железных ступенек, тянут за собой сумки, портфели, чемоданы, выгружаются.

- Спасибо, Коля, - хватается за поручень моя мама. Диковато это слово тут в тайге нашей звучит. «Спасибо». Необычно.

- «Спасибо» - оно не булькает! – помогает маме фиксатый и тут же осекается, - Петровна, шутканул! Порядок, в натуре!

«Петровна»! Это моя-то маленькая, хрупкая мама! Она даже мне кажется маленькой. А какая ж она для этих уркаганов в бушлатах с номерами? Но для них она Петровна. И это высший знак уважения. Авторитет у мамы на зоне выше, чем у Хозяина и у командира роты вместе взятых. Я никогда не задумывался над тем, что она должна была пережить, что она должна была

чувствовать в тот, свой самый первый день, когда пройдя на шпильках километр по шпалам, миновав «отстойник» и КаПэПэ, она впервые лицом к лицу очутилась с этой полосатой братией. Сроки, или точнее «срокА», как тут говорят, на нашей особой зоне были увесистыми. Все были «не по первой ходке».

«Здравствуйте! Я, ваша новая учительница. Зовут меня...» - как должно быть бешено стучало тогда родное сердечко. Класс, в котором до её появления, кемарило человек пять-шесть зэков, уже через пару дней с трудом вмещал всех, внезапно ощутивших жажду знаний. Спустя два года мама стала директором этой школы. Но на её уроках литературы по-прежнему не хватало мест за партами, и зэки толпились даже в коридоре.

7

Это были настоящие спектакли. Я же в свои четыре года спокойно разгуливал по всему посёлку. Я ел вместе с зэками в их перерывах на пайку, когда они работали на дороге, гонял быстрее ветра на ручных дрезинах, с удовольствием сидел с ними у костра, я на всю жизнь запомнил их истории, голоса, запах.

Понятия «не положено» для меня не существовало. Чернобровые джаники и тофики с «калашниковыми» быстро научились смотреть на нашу странную дружбу сквозь пальцы. «Зёма, чо ты в натуре, это ж Николай Николаевич!» Да, для них я был Николай Николаевич. Жизнь моя, ты рисуешь странные сюжеты. Пройдёт всего тридцать лет, и уже совсем другие зэки будут молча стучать ломами в разогретую костром стылую январскую землю. А гроб с моей мамой будет стоять рядом на больших деревянных санках. За ними пошлют, когда мы поймём, что с дороги до кладбища нам не пройти по огромным сугробам...

- Не убегай далеко, я за билетами, - мама поднимается по крутым деревянным ступеням станции.

Легко тебе говорить «не убегай!», кругом «белые», а патронов у меня полбарабана всего.

Станция Раздельная для меня, шестилетнего пацана, пункт совершенно-особенный. Не помню, когда и с чего это началось, но во все «дни сомнений и тягостных раздумий», когда родители мои были мною недовольны, я произносил одну единственную фразу: «Уеду на Раздельную!» И всё. Отец не мог скрыть смеха, мама переставала сердиться. А я не шутил. Я вполне представлял себе свою там самостоятельную жизнь. Вот только Нина... Не отпустят её. Ну, да ничего. Буду «залёткой» проводить её с порожняками до биржи. А к этим не зайду!

Домишко станции на высоком, вытертом сапогами, холме. Крутые деревянные ступени с перилами. Умел бы уже читать, разобрал бы сейчас отчётливо резанные штык -и обычными ножами «ДМБ-72», «Алма-Ата», «Здесь были...». Две огромные берёзы с шапками вороньих гнёзд. Стволы тоже порезаны. Сразу за станцией маленький с выгоревшими на солнце дощатыми боками продмаг. Внутри сладко пахнет слипшимися в бесформенный драгоценный камень конфетами-подушечками. Заторопились, затолкались на входе. Значит поезд. Ну, точно. Огромные, на четверть красные, колёса «ФЭДа» с лязгом прилипают к рельсам, в насыпь ударяет струя белого пара, дремавший на заборе кот выгибает спину шерстяной, трёхцветной радугой. Паровоз фыркает, подгоняя скорее занимать свои места в вагонах. Сами вагоны с вынесенными далеко

вперёд длинными бурыми поручнями, низкими, до земли, ступенями и грязными прямоугольниками окон не скрывают своего прошлого. Двуглавые орлы на них плохо замазаны зелёной краской. Свисток. Деревянный диван тычется в спину. Тронулись. За окнами проплывает остов товарного вагона, брошенный ржаветь в грязи трелёвочник, семафор с задранной вверх клешнёй. До Лесной километров семьдесят. Это чуть меньше двух часов дороги. Но здесь, в этом вагоне, самостоятельность моя пресекается на корню. Состав идёт с Крутоборки, публика тревожная. В этом ковчеге все вперемешку: разные гражданские, краснопогонные дембеля, «откинувшиеся», «бесконвойники», снабженцы с зон.

8

Тайга за окном сменяется унылыми, усеянными диким льном, болотами с торчащими тут и там обугленными стволами деревьев. Через полчаса Брусничная или шестой ЛагПункт. Здесь стоим недолго. Вагон пропах сивухой и вареными яйцами. Клубы табачного дыма и мат из тамбура. В вагоне много «одинаковых» людей. Это и есть те самые «откинувшиеся». Они почти все в одинаковых серых пиджаках с коричневыми замшевыми налокотниками и одинаковых же ботинках. Пьяных среди них немного. Совсем скоро они вместе с нами переседут в Лесной на поезд до Кирова, а потом ночью, когда все будут спать, выйдут на станции Яр, там где наша унылая «железка» пересечётся наконец с Транссибом и разъедутся по стране. Снова встали. Посёлок Ягодный. Тоже зона. Это последняя перед Лесной стоянка.

За окнами вагона как-то разом темнеет. Сами же окна превращаются в волшебные, дрожащие зеркала. Лица людей в них мягче и добрее. Из засиженных мухами плафонов на потолке льётся тусклый свет. Кажется, что стало тише. Лица в окнах-зеркала это пассажирские души. Наши души. Они же всегда добрее нас самих. Безмолвно качаются рядом, тихо улыбаются тому, что, пусть и на время, но покидают эти унылые места. Я знаю, я уверен, что когда-нибудь, может быть даже совсем скоро уже, я проеду по этой печальной дороге в последний раз.

Мама, думая, что уснул, нежно гладит меня по стриженной голове: «Пора, сынок». В названии станции «ЛЕСНАЯ» над бетонным козырьком вокзала горят не все буквы, и оно задом наперёд всплывает в вагон кроваво-красным грустным признанием Я..СЕЛ.



Вот сейчас надо сжаться, съжаться, потому что на улице холод моментально заберётся в рукава и за шиворот, побежит по спине. А ещё надо успеть схватиться за край скамьи – паровоз несколько раз дёрнет вагоны, прежде чем остановиться.

В тамбуре возня и крики, женский визг и спокойный мужской голос: «Детей уберите отсюда!» Краем глаза успеваю заметить сидящего не НА, а глубоко В унитазе человека в кепке, съехавшей на лицо. Клетчатый пиджак в крови. Зона отпускает не всех...

9

Наш состав никогда не подают к перрону. Его, словно стесняясь старых, царских ещё вагонов, всегда загоняют на третий путь. Как ни старайся, как не задирай ноги, всё равно спотыкаешься о рельс и ловишь ладошками мазутную шпалу.

- Не об штаны! Иди теперь так до вокзала, ничего не трогай! – настроение у мамы портится. И не я со своими чёрными, с налипшими на них золотистыми песчинками, ладонями тому причина. Мама нервничает от того, что ей очень не хочется туда, в это жуткое здание вокзала, где обязательно будет длинная, тесная очередь, во всю свою длину отравленная тревогой ожидания «а хватит ли плацкарты на всех?»

Вокзал в Лесном странный. Для того, чтобы попасть внутрь, надо не подниматься по ступеням, а наоборот, миновав грязные, захватанные «туда-сюда» двери, шагнуть вниз.

В этом безвоздушном пространстве между жёлтым, вытертым кафелем и ядовитым неоновым потолком настоящий Вавилон: бесконвойники в телогрейках, дама в шляпке, старик в тюбетейке с лицом-сухофруктом из компота, толстая тётка в блестящей кофте с золотыми зубами, дембеля-«вертухай» с черными, вместо своих положенных красных, погонами на парадках, снабженцы в модных плащах с портфелями, откинувшиеся... Старик в тюбетейке наверняка приезжал проведать сына – «вертухая». А вот дама в шляпке и тётка с золотыми зубами точно были на свидании у сидящих здесь в тайге своих мужей или сыновей. Печальный вятский берег Стикса.

Бабуля в глухом платке, вытянув вперёд крохотные восковые ладошки, не мигая, смотрит в пол и твердит одну и ту же фразу: «Ай, поймаю,

поймаю...» Но девочке со смешными косичками, с которой эта игра начиналась, уже давно не до неё. Она прыгает на одной ноге с квадрата на квадрат и так сосредоточенно смотрит на щербатый кафель, что я начинаю вполне отчётливо видеть вместе с ней воображаемые «классики». Мама в очереди, я - верхом на чемодане, «пасу угол».

Вокзал-распашонку можно пройти насквозь. Обходя огромные чемоданы и спотыкаясь об узлы, выйти в соц.городок Лесной. Сама станция называется Лесная, а посёлок Лесной. Да тут по всей дороге так. Вон через две станции отсюда – Заводская. Я шесть лет назад родился там. Но в моём документе стоит «пос.Созимский», а там все знают, что это «4-я особая стройка НКВД».

Лесной построили в конце тридцатых, и сюда переехало всё управление ВятЛагом. Неизвестно, кто выбирал место для соц.городка, но только сейчас он стоит посреди огромной вонючей лужи. Вместо улиц здесь глинистое месиво, развороченное лесовозами и трелевочниками. Вдоль почерневших двухэтажных бараков, со съехавшими набекрень окнами, положены деревянные трапы. Идти быстро по грязным, местами сгнившим, доскам не получается. Они хлюпают, брызгают жижей, предательски обрываются лужами. Канавы с торчащими тут и там камышами затянуты лягушачьей икрой. Толстые коричневые верхушки камышей красивые. Они похожи на такие высокие штуки, которые крепятся к киверам солдат в моей любимой книжке про Бородино.

10

Здесь тоже много солдат. Но ещё больше офицеров. Майоры, подполковники и даже полковники в высоких серых папахах здесь не редкость. Все они служат в Управлении. У нас в посёлке многие им завидуют. Говорят, что, отслужив какое-то время тут, все они потом обязательно получают квартиры в самом центре Москвы.

У местной лесновской зоны история страшная. В середине пятидесятых здесь бушевали «сучьи войны». «Суками» после войны называли тех воров, которые добровольно уходили воевать. «Честные воры» объявили их «вне закона». Власть на зонах постоянно переходила из рук в руки. Всех, кто примыкал к «сукам» называли «ссученными». Зимой 54-го «честные воры» подняли бунт на лесновской зоне. Убили несколько «ссученных», разгромили контору лагпункта и вскрыли сейф. Обнаруженные в нём списки лагерных стукачей окончательно взорвали ситуацию. Несколько заключенных из списка было повешено. Переговоры ни к чему не привели. Рота автоматчиков оцепила лагерь. Со стороны пруда разобрали забор и сняли проволоку. Уркам ещё раз предложили сдаваться и выходить на лёд. Несколько «авторитетов», пытаясь прорвать оцепление, пошли на автоматчиков, прикрываясь политическими. Положили почти всех...

Мама частенько берёт меня с собой в Лесной. Мы ездим сюда «доставать» и «выбивать». Как она это делает, я не знаю, потому что мне подолгу приходится ждать её в длинных и скучных коридорах. Время здесь тянется как сгущённое молоко, и не спасают ни двойной в клеточку листок из тетрадки, ни книжка про войну. Можно конечно встать у двери, прижав вот так вот автомат к груди, и у всех спрашивать документы, но и это быстро надоедает. Однако, эти мои ожидания почти всегда щедро

вознаграждаются. Здесь в Лесном есть два очень любимых мною магазина. Один с простым и понятным названием «Книги», другой со смешным «Культтовары». Мне пока хватает в этом слове и одной буквы Т, поэтому всегда представляю себе огромный куль, а в нём кучу разных, замечательных товаров. Здесь есть детский отдел, и если мы попадаем сюда после «привоза», моя коллекция солдатиков обновляется. Здесь же продаются пластинки. Отец шутит: «Купим ему ещё одного Райкина, и будет нескучно ездить хоть до Владивостока!» А ещё, здесь в Лесном, рядом с кирпичной столовой, есть самый настоящий, как в большом городе, киоск. Среди чёрных и мрачных бараков он выглядит очень инопланетно. За мутным стеклом значки с Лениным и городами-героями, открытки и газеты. «Крокодил» для отца, «молодец, парень, не забыл!» и квадратный, с синими, гибкими пластинками внутри, «Колобок» для меня.

Но больше всего мне нравится ездить в Лесной к «двум Светам». Одна из Свет – мамина подруга, другая – моя. Мамина Света работает на «базе». База это такой длинный ангар, внутренности которого забиты «дефицитом». Дефицит – это женские кожаные сумки, обувь, куртки, плащи, шубы, транзисторные радиоприёмники, хрустальные вазы и люстры, японские сервизы. Всё это, прежде, чем разойтись по поселковым магазинчикам ВятЛага, сначала оседает здесь. Выйти из ангара не с пустыми руками у взрослых называется «урвать что-нибудь по блату». Моя Света – это моя первая серьёзная Измена в жизни.

11

Про свою Нину я забыл сразу, как только увидел эту, стриженную под мальчика, с огромными глазами и очень красивым ртом девчонку в коротком клетчатом пальтишке, в колготках и стоптанных ботинках. Света была такой...Такой, что немедленно хотелось в её честь спасти индейца, или закрыть собою, нешироким, амбразуру дзота.

- Ты чей, шкет? – скрестив на груди руки, она пристально смотрит мне в глаза.

- Ничей! Я сам по себе, - беспомощно оглядываюсь, но ни привязанного к столбу Чингачгука, ни бьющего очередями дзота поблизости нет.

- А звать тебя как?

- Коля...

- Хаааа, Коля! Этот Коля всех поколет, переколет, выколет!!!

- Ну, а тебя? – я очень стараюсь сейчас нахмуриться.

- Света!

- С того света! – немедленно мщу я.

- Ну, и дурак! – хватает пилотку с моей головы, - дурак и не лечишься!

- Отдай! – пытаюсь ухватить за клетчатый рукав, - отдай, дура!

- А товарищ Отдай уехал в Китай! – высоко задрав руку с пилоткой она прыгает то на одной, то на другой ноге вокруг меня, - служи! Хороший пёс! Служи!!!

Несколько раз пытаюсь дотянуться и вырвать пилотку, но Света на полголовы выше, и у меня ничего не выходит:

- Да пошла ты! – сажусь на трап у канавы.

- Эй, ты что обиделся?! – она перестаёт прыгать и садится рядом, - а на обиженных воду возят! Слышал? Да, на ты свою пилотку.

- И ничего я и не обиделся, - заученным жестом ребром правой ладони я центрую звёздочку на бритой голове.

- А лет тебе сколько?

- Семь! – не моргнув глазом накидываю я себе год и тут же добавляю, - с половиной!

- Аааа, семь! А почему не в школе тогда? – она совсем рядом и от неё вкусно пахнет земляничным мылом.

- А у нас дела тут! – киваю я на ангар.

- Ааа, за дефицитом приехали? Вы из тайги? – в голосе её больше нет совсем никакой дерзости.

- Даааа, с 19-го мы, - я по-взрослому щурюсь на солнечные блики в канаве и грызу сорванную травинку.

- А ты про любовь песни знаешь? Вот эту вот – «Они дружили друг с другом с детства, когда были ещё детьми и долго-долго они клялись, что не забудут о любви. Его послали служить в....»

Странно. Очень странно всё это. Ещё несколько минут назад всё здесь было для меня чужим и поскорее хотелось снова вернуться на вокзал, сесть в наш старый поезд и учухать к себе в посёлок, а сейчас... А сейчас мне так здорово! Чёрные головастики носятся в канаве, солнце греет болоньевую спину, а рядом со мной сидит и поёт самая красивая в мире девчонка. И уже совсем не хочется уезжать.

12

И совсем-совсем не захочется уезжать вечером, когда набегавшись и напрятавшись по дворам вместе с её, а теперь уже и моими новыми друзьями, мы будем, прижавшись друг к другу, стоять в тёмном дровянике, где сладко пахнет созревшими опилками и берестой, и только недалёкие мамины голоса заставят нас поверить в то, что всё это с нами и на самом деле: «Светаааа, Кооооля, домоооой!» Она горячо коснётся губами моего уха: «Всё. Сейчас загонят. Ты приедешь ещё?»

А маленькая Нина, оставленная мною охранять наш семейный шалаш, никогда не узнает о ней. Ни сейчас, ни спустя несколько недель, когда обе Светы приедут к нам в гости. Мы тогда просто, никому ничего не сказав, уйдём с моей Светой в тайгу. Она сядет передо мной на корточки и протянет мне тяжёлый серебряный портсигар со спутником, облетающим нашу землю:

- Это тебе!

- Тебя же отец убьёт! - соображу я мгновенно.

- Не отец он мне! Да и по фигу. А ты мой – суженный! Покури...

Но спичек у нас собой не окажется, и мы будем по очереди крутить в ладонях сухие палочки и дуть на белый мох... А перед самой вечерней дрезиной она, зарывшись лицом в пальто на вешалке, будет выть так, что напугает всех в нашем бараке. Сердце моё будет биться, будто я пробежал от стрельбища до биржи, в горле будет сухо и тесно и я не захочу ни на кого смотреть и никому ничего говорить.

«Так значит все

Так значит нужно»
Пришёл любви последний час
Ведь я любил её мальчишкой
Теперь люблю последний раз!»
Друзья узнали, похоронили
Пропеллер стал ему крестом
И долго, долго на той могиле
Девчонка плакала потом»

НА КОММУТАТОРЕ

- Зобать на улицу вон иди!
Это тётя Аня Большова, телефонистка наша поселковая. На Толика - бесконвойника ругается. Ну, Толик, «фото на эмали» который, банщик, я вам про него уже рассказывал.
- А то наладился тут...дышать нечем, хоть топор вешай.
- А у меня «цивильные» сегодня, - чуть сгорбившись, покорно шагает к двери Толик.
- Да откель они у тебя поди завелись-то цивильные?
- А Рафик – снабженец с Лесного приезжал, - аккуратно прикрывает за собою дверь банщик.
Сюда на зоновский коммутатор Толик с весны «наладился».
Муж тети Ани тихий, маленький мужичок позапрошлой осенью умер. Вон его «кошки» в углу висят, и пояс широкий, брезентовый с большими блестящими карабинами и плащ-палатка. Витю-электрика уважали в посёлке. Во все эти слухи о том, что он из бывших сосланных, «полицаил, мол, по молодяжке где-то в Белоруссии» даже мы – пацаны не верили. Да, и потом, кто тут не из «бывших»-то? А когда сына их Сашку в Германию служить призывали, слухи эти и вовсе прекратились.
- Слышь, как гудит? А ты ухо вон приложи, - дядя Витя хлопал телеграфный стол ладонью, словно здоровался с ним, потом медленно прикручивал к сапогам «кошки». Плюнув на руки, размеренно карабкался вверх. На середине уже привязывался ремнём и лез дальше. Той осенью, по

первым морозам так его на столбе и нашли. Дрезина с Раздельной шла, сняли...

- А морозец-то сегодня, извини-подвинься! - смешно ёжится и сразу шагает к печке Толик.

За чуть приоткрытой чугунной дверцей озябшими мышами пищат сырые поленья. В маленькой, в одну горницу, избушке, приспособленной под коммутатор, тепло и уютно. В трёх, из соснового бруса, стенах по окошку – ничего на посёлке не пропустишь. Вон, прямо по курсу, там где Биржа, за клубился, повалил густой дым – значит, состав с лесом выйдет сейчас, направо глянешь – дрезину не пропустишь, ну, а в левое окошко – зимой горка, летом речка. В самом же центре Святая Святых. Сам коммутатор. Размером с бабушкин сервант деревянный шкаф, затянутый паутиной разноцветных, забранных в тряпичную обмотку, шнуров с умопомрачительной красоты медными наконечниками. Если стоять у окна и ждать паровоза с Биржи, а на тётю Аню только косить глазом, кажется, что у неё три, да нет, все четыре руки. Щёлкают, отваливаются стальные крышечки номеров, в круглое чёрное отверстие под ними тут же входит штекер, переплетаются шнуры:

-Коммутатор. Кого? Соединяю. Биржа?! Биржа, Раздельной ответьте! КаПэПэ?! Рота вызывает!

«Говорилка» окаменевшим бутоном цветка свисает на длинной толстой проволоке с правого наушника. У тёти Ани красивые волосы.

14

Нам с Толиком нравится на неё смотреть. Просто вот так вот сидеть на деревянном диванчике у стены и смотреть. И слушать: «...ДэПэЭнКа не отвечает...Соединяю! Коммутатор. Соединяю...» Переплетаются разноцветные шнуры, невидимые в тайге люди разговаривают друг с другом.

Толик здесь другой совсем. Не такой как, у себя в каптёрке за баней. Кажется даже, что его огромные, колотые синими якорями кулаки, здесь, в гостях у тёти Ани становятся в два раза меньше. Он не матерится, по первой же просьбе бежит с ведром на речку, колет дрова, топит печь. Зачем здесь я – мне понятно. На зоне второй день побег, а мама в Лесном по делам в РайОНО. Вечером с дрезиной вернётся, заберёт меня. А вот зачем здесь всё время Толик я не понимаю. Ему-то чего побега бояться? Кто его тронет? Я у продмага слышал раз, как «химики» курили с Толиком: «Ну чо, к Аньке опять? Паяешь кастрюлю помаленьку? Пральна, так-то ржавеют они». Все смеялись ещё тогда. Толик нет. Я сижу сейчас рядом с ним и не вижу здесь ни одной кастрюли. Их тут нет. Паяльника я у Толика тоже никогда не видел. Дураки какие-то.

- Взяли! – кричит вдруг тётя Аня, - взяли за Раздельной!

- Да, иды ты! – резко встаёт Толик, - как бл...

- Да погоди ты, - тётя Аня прижимает левой рукой наушник к красивым волосам, - Да, Зоя! Слушаю! Да. От, это номер!

Аккуратно снимает наушники, плавно откидывает назад красивые волосы, поворачивается к нам на стуле:

- Он через кордон до Раздельной дошёл. Там, за станцией уже на перегоне к паровозному тендеру снизу прицепился, думал тепло ехать будет. Ну, и

примёрз бедолага. Сам заорал...еле отодрали, ладно машинист ещё услышал.

- От долбоёб. Это со второго отряда Мишиного чудик, - взволнованно курит в печку Толик.

На улице зажегся фонарь. Снег заблестел, заискрился на дорожке. Маленькие разноцветные лампочки на панели коммутатора мигают зелёным, жёлтым, красным. Падают, щёлкая, номерки, путаются провода, путаются мысли...

В нашем посёлке нет кладбища. Его и не было никогда. Покойников в Лесное увозят. Там вроде хоронят. А тех, первых, с которых всё началось, никуда не увозили. Они строили эту дорогу. В эту насыпь их и зарывали. Тех, кто не выдерживал. Тысячи русских, потом немцев, поляков, латышей, евреев. 19-й особый Лаг.Пункт ВятЛага стал для них Адом. А для меня Родиной.

Но я всего этого ещё не знаю. И я шагаю сейчас счастливый по этой насыпи. С тяжёлым портфелем. В портфеле, плотно зажатый в синие картонные корки, улыбается Ленин. Даже два. Но тот маленький, с золотыми кудряшками даже материться, наверное, не умеет и не сможет, не задрав ногтя, вытащить из приклада «калашникова» чёрный, тяжёлый пенал. А тот, который постарше и с бородкой, щурится так, что хочется отвернуться. А вон там за сараями, в нашем укромном Раю меня ждёт Нина Лапикова. Моя первая Любовь. Наша с ней дочка, с единственным открытым глазом и в пластмассовых на босу ногу туфельках, спит

15

убаюканная в железной кровати. Мои деревянные автоматы аккуратно составлены в пирамидку, стрелянные гильзы разложены по коробкам из под чая. Нина варит суп. Чуть подорожника, немного песочку и разноцветные камешки. А я иду по дороге. Впереди у меня Биржа, позади весь остальной мир. Если всё будет хорошо, а всё так и будет, я тоже стану бесконвойником. Буду работать на тракторе или водить тяжёлые паровозы. А Нина будет ждать меня в нашем Раю.

Я иду по нашей единственной в посёлке дороге. И мне уже не надо прыгать, чтобы чётко попадать в шпалы. А телеграфные столбы вдоль насыпи дают вдруг тысячи побегов и расцветают прямо у меня на глазах дивными, пышными, невиданными цветами.

«КЕМ БЫТЬ?»

На этот вопрос я впервые ответил в пять лет.

Вопроса мне этого никто не задавал, и ответа по этой же причине тоже никто не расслышал.

А зря.

Я решил стать бесконвойником.

Потому, что только они в отличие от остальных зэков могли спокойно шататься по посёлку до общего вечернего шмона в отстойнике.

Правда для этого, из своих отпущенных УК РФ пятнадцати, лет десять-двенадцать они должны были провести под тоскливым прищуром чёрных средне-азиатских глаз. Но краснопогонные Гасанчики, Тофики, Джаники сменяли друг друга каждые два года, а рельсы по-прежнему упирались в Биржу, в кружке на длинной, плетёной из проволоки, ручке булькал чифир на костре, красная от торфа вода в маленькой речушке Има ломила зубы, а всё вместе это называлось до обидного коротким словом - Срок. И у каждого здесь он был не первым. Одно слово – «тигры». Московские, питерские, тигры « с Ростова-Папы – Одессы-Мамы». 19-й Лаг.пункт особого режима Вят.Лага...

Но быть просто бесконвойником нельзя. Требуется какая-никакая специализация.

Конечно, можно пойти к бате сцепщиком на мотовоз, он всегда забавно подпрыгивает, выныривая из тайги: рельсы узкоколейки же только вблизи кажутся прямыми...

Или к «Червячине» в пожарку и натирать там хозмылом от стены до стены протянутые грубые серые нитки – «зэков штопать» в помощь зоновскому лепиле.

Но мне всегда больше нравились трактористы-бесконвойники. На своих маленьких, шустрых трелёвочниках они творили подлинные чудеса – ловко перескакивали через рельсы, крутились на крохотных пяточках дворов, громко, от души хлопали красной, без стекла дверцей...

16

И потом всегда же можно чикернуть пару хлыстов на повале и притащить их училке или вон, - толстой фельдшерице и потом, не взяв скомканный трояк, цикнуть рондолевой фиксой: « помёрзнете ж тут без меня нахер...»

А, придя домой, скинуть блатной, без воротника, ватник в масляных разводах, с петельками, а не прорезями для пуговиц и в кирзачах прямо прошагать на кухню - выдернуть носком сапога табуретку из под стола, тяжело сесть: «Жрать давай, мать!»

Но мама сейчас испуганно смотрит не на меня, а на отца: « Ты руки мыл?»

Уеду я от них.

Сейчас помою руки, поем, дождусь вечерней дрезины и уеду.

На Раздельную уеду.

Туда, откуда паровозы тащат царские ещё вагоны дальше до самой Крутоборки...

СМЕРТЬ В ЛИМУЗИНЕ

Поскольку дорога в посёлке была только одна, да и та - железная, от неё к баракам, прямо от самой насыпи были одинаково аккуратно устроены бревенчатые, кое где даже в два наката, широченные сходни.

Народ, работавший в зоновской управе, денег по тем временам получал немерянно. Со всеми северными и прочими надбавками цифры выходили такими, что где-нибудь за пределами необъятного ВятЛага озвучивать их было небезопасно. А вот тратить их было негде и не на что. Офицерские бабы в канцелярии и бухгалтерии буквально изнывали под тяжестью разнокалиберного "рыжья". Но и оценить-то по достоинству всё это тоже было некому. Ну , вот , кому? Фиксатые "толики" и "славики", находящиеся на вольном поселении итак искали любой повод для похода в контору...

И вот, на всём этом незамысловатом фоне, полковник Сулгуненко - Хозяин всего, что там-на Зоне- двигалось и не двигалось, берёт и покупает себе "Волгу"!

Днём, что само по себе уже- Событие, пришёл неплановый поезд, состоящий из одного паровоза и одной платформы. Остановился напротив дома Сулгуненко. Открыли борт, сняли тент и замолчали. Чёрный лак, никелированные железяки - всё это так дико контрастировало не только со всей окружающей действительностью, а, казалось, с самой земной жизнью! Собрался весь посёлок. Даже старикан Битин, перестал на пару часов умирать и тоже пришёл.

Из роты пригнали чурок и они, под личным контролем Сулгуненко, аккуратно скатили лимузин на бревенчатый настил. Паровоз свистнул и учухал задом. Народ не расходился. Сулгуненко решительно распахнул дверцу, щёлкнул ручником, скатился на три метра назад и снёс наизусть калитку своего приборачного палисадника. И вот только тут к бездыханной публике стало возвращаться сознание. Одно на всех. Все вдруг поняли, что

17

вся будущая трасса Хозяина состоит из пяти с небольшим метров. И всё! Молча разошлись...

А перед самым Новым 1974-м Сулгуненко нашли мёртвым за рулём. Все свои последние ночи счастливого обладания "Волгой" он заводил машину и в одиночку пил в ней водку. Говорили, - угорел...



СТРЕЛЬБИЩЕ

Километра три, которые обрываются высоким земляным валом, и есть стрельбище. Оно огромное. По сути это длинная, широкая просека в тайге. Справа обойти невозможно, - бурелом, когда просеку зачищали, всё там и осталось. Слева, местами, неглубокое, но страшноватое болото. Поздней весной, летом и ранней осенью, сразу после стрельб, ходим сюда, как на работу. Сбирать пули.

Сразу за последними бараками посёлка надо шмыгнуть в красивый сосновый бор, потом перелеском выйти к дежурке стрельбища. Очень нравится мне этот перелесок. Никакой травы, только беломошник местами и песок. Летом здесь полно грибов. Разобрал аккуратно пальцами белый мох – иди сюда, красноголовик! А вон маслёнок желтеет, лисички стайкой выскочили из-под сосны. Лисички в супе «из пакета» с нарисованной, рогатой коровьей башкой, хороши. Красные и обабки жарим с картошкой. Бывает, в песке и сморчки со строчками попадают. Нечастые гости в лесах наших. Хорошие, но ломкие очень. Редко все целыми донесёшь. Чернобровые краснопогонники из роты грибов не берут, они их не знают, а местные и так с работ с полными вёдрами приезжают. Поэтому эти все – наши.

Новую дежурку недавно совсем срубили. Хорошо строганные брёвна плачут смолой на коротком солнце, манят длинноусых жуков-стригунов и «слоников». Последних считаем полезными. Все вместе верим в то, что они «занозы хорошо вытаскивают». Длинные, чёрные «щелкуны-попрыгунчики» тоже тут как тут. Схвати такого, переверни да положи на спинку лапками вверх, недолго пролежит. Глазом моргнуть не успеешь, соберётся весь, сгруппируется и «щёлк» переворачивается в сальто.

Дверь в дежурку всегда закрыта. На замок. Но в маленькие окна хорошо видно, что замок этот зря тут. Что там, – стол из грубых досок да две лавки. Снаружи, вдоль левой стены лестница с перилами. Наверху наблюдательный пункт. Дверь нараспашку и окно без стекла. Вся полоса стрельбища хорошо отсюда видна. Вон, с середины примерно, сразу за длинной лужей, побежали, запетляли окопы с блиндажиками. Чуть дальше за ними ржавая кривая полоска узкоколейки режет стрельбище пополам. По ней лебёдкой на тросе таскают туда-сюда тележку с мишенями. Попробуй, попади по такой. Вокруг дежурки полно костровищ. Есть и совсем обустроенные, с топчанами вокруг. В золе ржавые гвозди, обугленные банки из-под тушёнки, оплывшие куски стекла. Топчаны изрезаны штык-ножами: «ДМБ-70,71,72,73...Баку, Ереван, Нальчик, Рустави...Здесь вся Средняя Азия и Кавказ. В каждом пне вокруг, не сыщешь нетронутого, вбитые акашными прикладами стрелянные гильзы. Гильзы здесь повсюду. Мы же берём только розовенькие от «трассеров» и пулемётные, они длиннее обычных. А с обычными зелёными что делать, разве только свистеть в них. Мечта любого из нас – найти целый патрон! На патрон от АК смотреть, любоваться им, можно часами. Это самая совершенная и законченная в мире вещь. Вот в мёртвой гильзе жизни нет. Она даже матовой, бледной какой-то кажется и только пахнет вкусно.

19

А в целом же патроне она живая. Как там может быть Смерть? И вот этот вот тоненький красный ободок там, где пуля встречается с гильзой, и нетронутый капсюль...Время от времени кто-нибудь из пацанов приносит якобы подслушанные в роте сведения о том, что «вертухаи» зарыли где-то тут целый цинк с патронами, «а где и сами забыли». Всё это очень похоже на байки о «закрытых стрельбах», когда здесь якобы стреляют по живым «зэкам». Но мы всё равно ходим, копаем, тычем под кочки кусками проволоки.

Не, пока ничего...

За нашими спинами только что учухал на биржу порожняк. Значит пора торопиться. Туда-сюда нам почти шесть километров, а домой надо вернуться засветло. В этих походах на стрельбище мы всегда в сапогах. Огромные лужи – «лывы» не просыхают даже летом, а кое-где пробираться придётся и болотом. Ненадолго задерживаемся на позициях. Здесь окопы для стрельбы лёжа и стоя и просто брустверы из кочек. Беглый осмотр стрелянных гильз. Пулемётных среди них нет, значит, сегодня рассчитывать на «длинненькие» не приходится. Идём шеренгой. Первый километр проходим быстро, почти не глядя под ноги, здесь пуль быть не может. Самое интересное начнётся на линии окопов, там, где в блиндажах ждут своей участи зелёные, с квадратными плечами, фанерные мишени на длинных шестах. Вот обгоревшая, значит, лупили трассерами. Пару раз я просил отца, и мы ходили с ним на ночные стрельбы. Он договаривался с прапорами и нам разрешали подняться на эмп. Не забуду никогда. Ночная тайга гудела и рвалась одиночными и очередями. Куски пламени, вмиг освещающая просеку стрельбища, били в мишени, уходили рикошетом от рельс, дико плясали во мраке безлунной ночи. Даже с последним выстрелом лес всё ещё гудел, эхо металось, прячась в топких болотах, в ушах свистело. «Рот-то открывал?» – смеётся-кричит отец. Да какой тут рот, батя...

В блиндаже тяжело пахнет землёй и плесенью. Глаза к темноте привыкают быстро. В углу на двух битых мишенях старый бушлат, на земляном, хорошо утоптанном, полу куча окурков. Наряд из двух солдат – «краснопогонников» дежурит тут во время стрельб: выставляют мишени по окопам в специальные ямки, а потом прячутся здесь в блиндаже на краю стрельбища. Большие парни здесь покуривают. Потом дышат мхом, чтобы «мамка не учуяла». Я пару раз пробовал, вроде работает. Без больших парней ходить сюда на стрельбище за пулями нам нельзя. Это закон. За слушание штраф – по сто пуль с каждого, а это почти два полных подсумка. Подсумки из старых кирзовых голенищ нам шьют зэки. Грубые нитки, широкий брезентовый ремень, перекинул через плечо и погнал. Сто пуль – штраф суровый, столько за один раз не собрать. Но сегодня больших парней нет. Каникулы кончились и они в своём четвёртом классе в лесновском интернате. Это далеко. А мои «бойцы» меня не выдадут. И я веду сейчас свой взвод к земляному валу:

- Не растягиваться!

Нравится мне так кричать. Очень. Бесконвойником быть я уже перехотел. Вырасту, командиром стану. Голос вон громкий и форма идёт. Ну, не вся пока форма, но пилотка, ремень и погоны всегда на мне.

20

Погоны не позорные-красные, а чёрные с сержантскими лычками, мне их Саня Большов со своей парадки срезал, когда из ГДР вернулся.

- Сапогами не шлёпаем! – мои «бойцы» конечно знают, что я сейчас просто повторяю все те команды, которые сам всегда слышу от больших парней. Но слушаются. А тут глупо не слушаться. Будешь баламутить воду, не заметишь пуль. Мы идём сейчас по длинной мелкой с прозрачной холодной водой лыве. Короткая трава и песчаные залысины укрыты водой как стеклом. У Витькиного отца, он командир роты, в кабинете на столе такое же стекло. Под ним календарь из «Красной Звезды» и разные,

разрисованные цветными чернилами графики и схемы. Ногам в резине становится холодно, надо было поддеть шерстяные носки, не сообразил. Вместе со мной нас пятеро. Взвод не взвод, но отделение точно. Нагибаемся всё чаще. Прямая дорожка в песке под водой, как след от червяка, а вот и сама пуля. Зачем нам эти пули мы не знаем. Как «деньги» они среди нас в посёлке не ходят. Когда их у всех много, какие ж это деньги? Вот, останови любого пацана из посёлка и спроси: «Саня, тебе пули эти зачем?» Не ответит. Да и я не отвечу. Но собираем.

Лыжа становится всё глубже. Вот-вот начнём черпать воду сапогами. Рукава курток приходится закатывать. Всё. Дальше не пройти.

- Обходим! За мной, по одному! – первым ступаю на край болота. Пройти нужно немного, метров полста и лыжа справа оборвётся песчаной отмелью. Но идти надо строго след в след, с кочки на кочку, хватаясь руками за ветки. Паутина противно липнет к лицу, за шиворот сыплются еловые иголки. Болото слева уходит за горизонт. Если стоять тихо, можно услышать, как оно тяжело вздыхает. Дятел отстучал, отбарабанил за недалёким уже валом. Вместе с кукушкой считаем, сколько, кому осталось. У самого вала короткий привал и за дело. Дождя несколько дней не было и дырки от пуль хорошо видны в насыпи. Поднимаемся строго шеренгой, чтобы не засыпать их.

- А у меня пулемётная! – Саня карабкается выше, между большим и указательным пальцами блестит на солнце «длинненькая».

- Стоять, придурок! Там не рыли ещё! – орём мы почти хором.

Странно, пулемётных гильз на позициях не было. Ни одной. Значит, с прошлого разу проглядели...

Сейчас мы поднимемся на вал, и я сделаю два важных открытия в жизни. Одно неприятное, другое – посмотрим...

- Пацаны, тут красных дофигища! – Лёшка, мой сосед и однофамилец первым скатывается с насыпи, - давайте наберём, всё равно пуль не много сегодня!

- Как понесём-то их? – колеблемся мы какое-то время.

- В куртках! Назад быстро пойдём не замёрзнем!

«Виноватых» потом не найдут. Витькин отец останется командиром роты, а в самой роте так и не смогут внятно объяснить, почему на незапланированные стрельбы с высоким начальством из Лесного не было выставлено оцепления.

Пули тяжело били в насыпь за нами, резали ветки над глубокой лывой, у края которой, сбившись в кучку, ревел от страха мой «взвод».

21

Вечером того же дня, первый раз в моей жизни, отец, извинившись, вытащил широкий ремень из своих штанов. В моих штанах стало очень жарко. Вторым же, а точнее первым открытием было то, что я тогда за насыпью, так же впервые в жизни, произнёс, слышанное раньше от своей прабабушки Лизы: «Господи, Боженька мой, спаси и сохрани меня, пожалуйста!»

Примерно ко второй моей весне в этом удивительном посёлке с порядковым номером 19 родители мои, добровольно обрекшие себя на странную ссылку, оказались в педагогическом тупике. Пёстрая компания бесконвойников была бы конечно неплохой школой жизни для стремительно-познающего мир пацана, но явно таила в себе массу побочных эффектов. Поселковый детский сад носил скорее учебный характер и не закрывался только потому, что был нужен для отчётности. Мысль о том, что мальчонка имеет все шансы вырасти дурачком, вслух не произносилась, но спать мешала...

Внезапно найденное решение было просто как порох и гениально как он же, но уже в патроне.

В соседнем, таком же номерном, посёлке, в сорока с небольшим километрах от нас, на ближайшей почте были отысканы никому ненужные и, от этого почти новые, каталоги апрелевской базы посылторга. На пути родительских инвестиций в моё образование вспыхнул зелёный свет.

Примерно раз в месяц я трясущимися ручонками рвал грубую серую бумагу с двух внушительных размеров коробок. В первой, туманящей сознание, стопкой лежали Пластинки. Во второй железные и пластмассовые баночки с Диафильмами. С неделю меня можно было не искать. Да никто бы и не стал. Потому что некому было бы. Всё остальное детское население посёлка вставало на это время шумным табором в моей комнате-пенале. Окно занавешивалось одеялом, а простынь на двери напротив становилась экраном. Публика рассаживалась на дощатом, со щелями, полу, устремляла тоскливо-молящий взор на единственного из нас, умеющего читать и...

И вот волшебный луч с весёлыми пляшущими пылинками уже нёсся к двери, увлекая нас - каждого в отдельности и всех вместе за собой в яркие и волшебные миры...

А фильмоскоп у меня был - извини-подвинься! Выменянный отцом у зоновского петуха-массовика на две пачки "того самого - со слонами", он являл собой чудо послевоенного сов.прома и был похож скорее на трофейную кинокамеру.

И чёрный, с шероховатостями корпус, и шнур в пёстрой тряпичной обмотке - всё в нём было каким-то умышленным и очень живым...

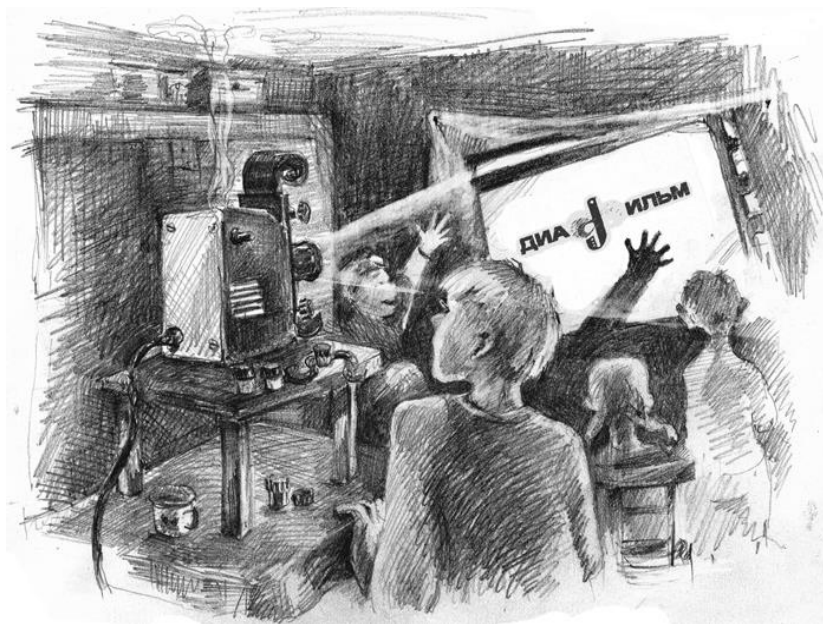
22

А однажды у нас в фильмоскопе перегорела лампочка. Та самая маленькая лампочка, исправно изменяющая наше сознание и переносящая нас в другие миры. Взяла и перегорела.

Через час о нашем горе знали все в посёлке. А через день мы начали болеть. Все. Один за одним. Родители моих коллег по несчастью недобро косились на моих отца и мать, дескать - устроили тут геморрой!

В спешном порядке снарядили небольшую экспедицию в районный центр. Нужной лампочки там не оказалось. Болезни стали прогрессировать и

грозили принять затяжной характер. Выручило зоновское начальство. По каким-то своим каналам лампочку они разыскали. И не одну, а сразу две!



У чудо аппарата были, конечно и откровенно-слабые стороны. Так, например, особо полюбившиеся кадры нельзя было рассматривать бесконечно долго, как этого хотелось бы. Лампа палила нещадно и плёнка начинала пузыриться. Но бесконечные просмотры позволили со временем ориентироваться по запаху...

А вот Пластинки были предметом исключительно индивидуального пользования. Подустав от уличных баталий или в откровенную непогоду, я вытаскивал из под кровати ящик со своими оловянными батальонами, аккуратно опускал "аккордовскую" иголку на чёрный виниловый блин и.... "Начал чайник. Он всегда начинал первым..."

Чего у меня только не было! Да всё было! И даже больше, потому что народ на апрелевской базе посылторга был весьма сообразительным. Ведь пластинки приходили наложенным платежом. И если список Заказа не совпадал с моментальными возможностями базы, в коробку клались просто любые другие пластинки до общей заявленной суммы. Так в пятилетнем возрасте я в полной мере наслаждался "Анной Карениной", в шесть был потрясён "Царём Фёдором..." ...

23

И вот, раз однажды, с такой счастливой оказией в коробке оказались "Любовь и коварство" Зоценко. Читал Юрский. И всё в моей тамошней жизни изменилось...

Дня через три я знал её наизусть. От и до. Тщательно копировал интонации, делал правильные, в нужном месте, паузы и...

И на одном из праздничных зоновских концертов вышел с двумя длиннющими монологами. Успех был настолько велик, рёв в зале стоял

такой, что родители мои не на шутку переобулись. К внезапной славе, вдруг свалившейся на их семилетнего отпрыска они были не готовы. В антракте новый Хозяин зоны Зинченко, расталкивая курящих зэков и вытирая слёзы, пробивался к отцу: " Ну, Иваныч, ну так твою етить!!! Ну, Иваныч! Парень-то далеко пойдёт! Как он это... етить твою мать..!" Я стоял на сцене, за старым желтоватым экраном и не решался выйти. Я слышал как все говорили только обо мне. Странно, думал я, если вы от такого вот так прётесь...,а я ведь ещё и не такого чего могу... Ну а потом- понятное дело, в магазине за хлебом - без очереди, в бане по субботам - нам с отцом лучшие , "рублёвые" места, в мотовозе - только в кабине! Ну а что?!, - Слава же...

ПОСЛЕДНИЙ ФОН

Когда Казимир умер, люди из поселкового растерялись. Все последние годы судьбой его никто не интересовался, и для всех он был Битин. Казимир Битин. Вот ещё вчера, буквально. И для меня, и для родителей моих. Для всех. А тут, вдруг, по всем бумажкам вышло, что на кресте вовсе и не Битин писать надо. А фон Беттен. Слухи о нём ходили, конечно, разные, кто-то говорил, что "из полицаев он ссыльных", кто-то, просто, - "предатель". Но одно все знали наверняка. В те, тогда ещё не совсем далёкие, годы, когда Вятлаг наш был полноправно-бесправной частичкой Гулага, тайгу здесь начинали валить пленные немцы...Знали и о том, что Казимир - самый старый поселенец. Но никому и в голову не могло прийти, что кто-то из "фрицев" мог вот так добровольно тут остаться.

Отец мой был дружен с ним. И когда они вместе с матерью куда-нибудь уезжали, я оставался у старика. Особых странностей я за ним не замечал. За исключением, пожалуй, двух...Садясь завтракать, он хлеба кусок клал не на стол просто как все "местные", а на тарелку и зубы ещё по вечерам чистил...А по-русски говорил лучше любого. Я любил у него оставаться...

Казимир жил не в бараке, а совсем отдельно, в маленьком, обитом дранкой домишке. До пенсии он работал путевым обходчиком и, поэтому, на чердаке всегда имелась пара вещей, способных заставить моё сердце забиться гулко и часто.

24

Ну, во-первых, - настоящий железнодорожный фонарь. С тремя разноцветными, сменными стёклышками. Во-вторых, фуражка с треснутым козырьком и дыркой от кокарды. Два замызганных флажка, бывшие в лучшие свои времена один - красным, другой - жёлтым. Коллекцию дополняла картонная коробка с огрызками разноцветных мелков. Весь этот набор позволял Казимиру не особо заморачиваться в устройстве культурной программы для молодого постояльца. По вечерам

мы с ним слушали радио. "Театр у микрофона". Я сдавался Казимиру всегда, в нагрузку, с отцовским VEФом.

Свет мы не включали. В печке трещали дрова, малюсенькие угольки валились в поддувало, все вещи в комнате становились другими...

Потом Казимир садился на маленькую скамейку перед печкой, голой рукой чуть приоткрывал дверцу и молча курил. Белёсый дымок, не успевая подняться над приступком, мгновенно исчезал над тлеющими углями вместе с неведомыми мыслями старика.



Но такая вот благодать у нас с ним была не всегда.

На большие праздники из соседнего посёлка Казимиру сдавали двух девочек Райку и Люську. Они были лет на пять старше меня и от этого уже слегка подуставшими от жизни. Наши постои частенько пересекались и старый домик Казимира с трудом переживал овербукинг.

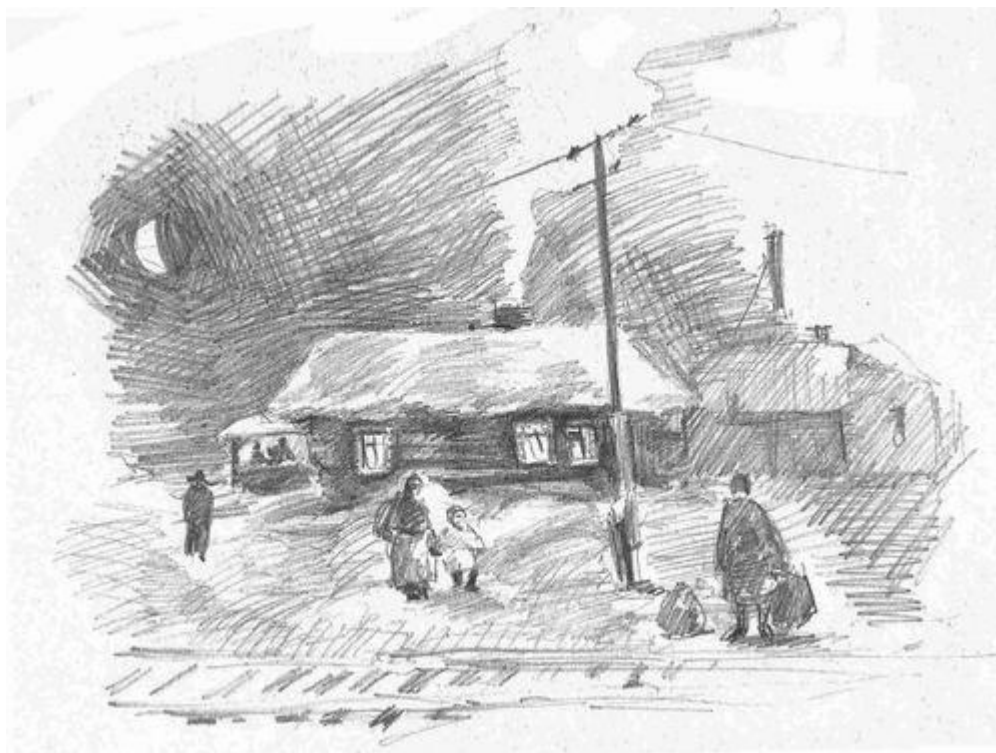
Райколюськины родители "держали шишку" в снабжении своего посёлка и поэтому ирисками "Кис-кис" старик спокойно мог конопатить окна на зиму.

25

СТАНЦИЯ

Для того, чтобы уехать туда, где продавалось мороженное, стояли автоматы с газированной водой и троллейбусы сыпали искрами, надо было сначала приехать вот на эту станцию.

Здесь автобус, вырвавшись вдруг из накатанной колеи, всегда делал такой странный полукруг и останавливался за станционным домиком.



Домик надо было обойти.

Мимо сугробов, вровень с низенькими, в ледяных окладах, оконцами.

Толкнуть дверь, обитую изнутри старым солдатским одеялом, запнуться о веник-голик в сенцах и очутиться наконец в большом, но всегда очень тёмном помещении.

Здесь кисло пахло мокрым полом, углем и немного краской.

Обитая крашенными в чёрный железными листами круглая печь в углу, дрова перед ней, вдоль стен два деревянных диванчика и завернутый в старый белый халат бачок с питьевой водой. Алюминиевая кружка на нём, прикованная цепью.

Часть приехавших немедленно устремлялась налево, туда, где за забраным решёткой окошком: "Я сказала нету плацкарты у меня! Купе вон берите, если такие баре!"

Остальные топтались тут, в полумраке, говорили шёпотом, рылись в сумках, вспомнив о чём-то. Мужики время от времени выходили курить, а вернувшись и поймав вопросительный взгляд своих спутников, молча отрицательно качали нутриевыми шапками, дескать: "да нее, не идёт ещё...".

26

Сырые дрова смешно пищали в печке, из бачка звонко капало в жёлтый эмалированный таз, скрипели скоблёные половицы, а всё это вместе звучало какой-то радостной музыкой. Всё это было предвкушением Настоящего Путешествия.

И можно было незаметно шагнуть к окошку с кривыми, забитыми ватой, щелями. Вытянуть губы и сделать на мохнатую наледь вот так : "хоооооооооо". Потом в разбегающемся стеклянном овале быстро быстро

поскрести ногтем и увидеть как в конце платформы поднимает свою чёрную культю настоящий семафор.
Поезд!

ПОЕЗД

"Парень, билеты у тебя?" - левой рукой отец хватается за жёлтый как зубы бесконвойника поручень, правой отрывает меня от перрона.

Билеты...

Да, цвета собачьего языка, эти картонные прямоугольнички с пробитой компостером датой нашей с отцом свободы, они у меня.

В левой варежке, в складке ладони.

"Давай, давай уже, потом, потом!" - торопит меня закутанная в толстую серую шаль проводница.

Шаг вправо, ручку вниз, два шага вперёд.

В нос бьёт углём, варёным яйцом, огурцом и потом.

Вагон общий.

Других не было.

Хотя их, других ещё тринадцать. Есть и плацкартные и даже, Витка рассказывал, один купейный.

Но билеты есть только в общие.

Ноги, шубы, пальто, валенки, фуфайки, разложенные на столиках газеты со снедью, яичная скорлупа, бутылки из под водки с молоком, заткнутые свернутыми газетными обрывками.

Столик с металлической окантовкой, выщербленной тысячами лимонадных и пивных бутылок, в серых ножевых порезах "дмб", "клён", "слон" и страшнее...

Место здесь, у столика - это успех!

Это значит, что отец, спустя какое-то время, сможет положить на него свою шапку, сделать вокруг неё неприступную крепость из самых сильных в мире рук и покемарить вот так вот, сидя. А я, подогнув ноги, буду спать лицом на его коленях. А завтра, уже вот прямо завтра, мы будем стоять с ним на чёрном-пречёрном асфальте и шуриться от солнца на пять огромных белых букв на зелёном каменном здании вокзала...надо просто перетерпеть...

Перетерпеть.

Отец ещё долго будет ходить курить в тамбур, случайно встречать старых знакомых, и наверняка даже выпьет с ними - «Да ладно , парень! По грамульке же! Завтра как стёклышко!»

Потом, часа через два мы проедем «страшное место». Районный центр. И по вагону быстро пробегут ОНИ. В вязанных, по брови надвинутых, спортивных шапочках и японских «дутьшах». Будь я постарше и без отца, мне бы следовало с их появлением изо всех сил притвориться бы спящим и совсем-совсем незаметным. Поезд будет стоять здесь двадцать минут и ОНИ прыгнут в вагон «зажимать».

Отбирают деньги и бьют прямо здесь. Быстро , зло и резко «на, на, на , сука!». Бьют, не давая встать. И в этих «на, сука!» тоскливая безысходность. Ты, сука, куда-то едешь, ты , сука, завтра увидишь Город. А я увижу его только два раза в жизни. Сначала, когда меня заберут в армию, и я, под присмотром двух сержантов, в своей самой старой одежде просижу полдня на вокзале и потом, когда меня пьяного в аксельбантах и сапогах в гармошку вокзальные менты затолкают в вагон.

Потому, что совсем уже потом, когда меня повезут на зону, ехать надо будет совсем в другую сторону.

Туда, откуда и идёт сейчас наш поезд. Два последних вагона которого, тринадцатый и четырнадцатый – цветное приложение к УК РСФСР.

И в эти вагоны ОНИ не суются. Порежут.

Там, в этих двух вагонах «откинувшиеся». Почти сплошь в одинаковых серых, с коричневыми замшевыми налокотниками, пиджаках и с одинаковыми же характерными причёсками – короткими, чуть выступающими вперёд мысками волос...

Они не поедут с нами до конца. Они выйдут на станции Яр. Там, где наша вятлаговская железка упрётся наконец в транссибирскую магистраль. И я не буду спать, и буду смотреть, как шагают они с одинаковыми чемоданами, сутулясь и исчезая один за одним в первой свободной в их жизни ночи.

Поезд здесь стоит очень долго. И мне очень нравится это , потому что мне очень нравится смотреть на длинные белые эмалевые таблички вагонов с соседних путей. Москва – Пекин, Москва-Серов, Свердловск-Ленинград. Белые занавески , бутылка «байкала», термос...

И люди там, за окнами этих вагонов наверное совсем-совсем другие. Это же наверное какие-то совсем-совсем замечательные люди.

Вот пацан моих лет. Он тоже не спит. И смотрит на мой вагон. Он в белой маечке, и подпирает голову вот так вот руками. Он едет из одного очень большого Города в другой очень большой Город. И он наверное точно так же как и я ходит в школу. Только настоящую, многоэтажную, с настоящим электрическим звонком. И так же, как и я готовит уроки по вечерам в своей комнате. И так же вот, как и я смотрит в учебник географии и пробегает глазами звездочки под словами Москва и Ленинград.

Но для него эти звёздочки – обычная география, а для меня астрономия...

И мне хочется сейчас как-то сразу и показать ему язык и погрозить кулаком, дескать «ишь ты, какой, ага!». Но вместо этого я делаю совсем усталое лицо и равнодушно смотрю мимо. Вот так, с таким видом, что сразу понятно, что вот он и не колот никогда дров и воду не носил , а на волокушах-то зимой и давно не катался...

Но вот пацан начинает плавно уплывать от меня
...это мы поехали...или он?



МИНУС ПОЛТОРА

В пять лет я заболел. По-взрослому...

Помню всё урывками, а точнее отдельными всхлипами.

После слов зоновского "лепилы" "подозрение на туберкулёз" гопота наша смотрит на меня с ещё большим уважением...

В фельдшерской, в той, что "за проволокой", через всю длинную комнату, от стены к стене во много рядов натянуты суровые серые нитки. "Лепила" натирает их хозяйственным мылом - "зэков штопать"...

Мама плачет...

Отец раздавил в кулаке рюмку с водкой. Таковую самую обычную, общепитовскую с "золотым" ободком. Взял и раздавил в кулаке...

Ехать...

Два дня...Дрезина .Поезд. Опять поезд. Автобус. Автобус...

Спецсанаторий.

Маленький двор завален негодными дубовыми листьями. "А у нас там нет таких!"

Кулаки в карманах-"не реветь, не реветь, не реветь!!!"

"Ничо, ничо, парень," - отец очень старается быть спокойным, - "ничо, это не надолго..." - закуривает. Вижу. Как трясутся его руки..."он не знает. Он не знает сколько мне здесь... Не реветь! Не реветь!"

Не выдерживаю. Отворачиваюсь и захлёбываюсь. Я не смогу без него. Без его запаха, рук, его глаз, голоса его. Я, я...

"Как тебя зовут?" - Она в очках и в обычной вязанной кофте, а не в белом, как я думал, халате, берёт меня за руку, - "Как зовут тебя? Ну всё, всё... Да-а-а??? А у нас тоже есть Коля Иванов. И он не плачет! Ребята позовите Колю!"

Пройдёт совсем немного времени и мне откроют этот незатейливый педагогический трюк - узнать как зовут новичка и тут же предъявить ему спокойного инсайдера-"двойника"...

Но сейчас мне всё равно кто плачет, а кто нет и кого и как зовут. Я знаю, что ещё чуть-чуть и Отец уйдёт, а я останусь тут, в этом чужом дворе, в который таращатся своими бельмами закрашенные белой краской больничные окна...

Старый огромный парк...

За этот год я знаю здесь каждое дерево. Вон в том, да не-е, вон в том дупле Серёга спрятал свой "пестик".

Жуки - "солдатики".... "Нафига ты их давишь-то-о-о!!!"

Дождь. На застеклённой веранде тепло и уютно. Анна Георгиевна читает нам "Динку"...

На трусах, рубашках, майках, на всем - чёрной тушью или нитками, стежками наскоро две буквы. У всех - свои. У меня - К.О. Чтоб не перепутали после стирок...

Операция...не помню...

Привозят в палату. Гордый! Девки смотрят с любовью, пацаны с уважением - "не зассал!"

Страшный чёрный сарай за корпусами. Играли в войну, забежали спрятались...Через минуту с воплями назад -"Там! Там! Там!"

А чо там. Да ничего особенного. Старые, списанные гипсовые формы наших навсегда лежащих ровесников из третьего корпуса.

Рядами вдоль стен. Думали- привидения.

Этот сарай - кошмар моих, уже взрослых снов. Белые фигуры вдоль стен. Голова, руки, всё в полный рост... Они никогда и не видели того парка. Для них не было веранды, "отдай, дура, мой пластилин!", реки с огромной песчаной отмелью, огурцов на грядках...

Ничего не было.

Потолок был. Белый.

С трещинами...

Все вместе боимся атомной войны. "А чо ты будешь делать, если...?"

Президент Никсон в Москве...

На полдник - горячее, кипячёное молоко с, брррр, пенками. Н И К О Г Д А !
Я влюблён...

В Анну Георгиевну. Она мне снится. Я вырасту когда, увезу её отсюда...

АННА ГЕОРГИЕВНА

Она была безупречна. И, пожалуй, единственное, что меня в ней смущало, была вот эта вот иголка от шприца. Самая обычная, холодная иголка, которой была заколота её шапочка сзади.

- Ну, проходи, ложись, мой герой.

Я ждал этих слов. Я и только я был её Героем. Я твёрдо знал, что вот так вот она больше никому-никому не говорит и, что у нас с ней есть только наша, никому более, неведомая Тайна.

Какое-то время она что-то писала, вороша бумаги на пожелтевшем металлическом столике, сидя ко мне спиной.

Я же, уперев подбородок в кулаки, любовался её шеей. Это была шея древней Богини с чёрно-белой фотографии из толстой книги про Эрмитаж. На иголку я старался не смотреть. Она, эта иголка, разом портила всё. На секунду закрываю глаза и потом сразу же скольжу взглядом по завиткам каштановых волос всё ниже и ниже. В тот момент, когда глаза мои встречаются, наконец, с округлой застёжкой от лифчика, туго обтянутой тонким, белым халатным шёлком, дышать становится трудно. Чтобы сглотнуть и перевести дух поднимаю голову.

- Сейчас, сейчас, Николай Николаевич, вот только...ну, вот. Я смотрю, идём на поправку мы с тобой! – я не вижу, но точно знаю – она улыбается сейчас. Чуть щурится за тонкой золотой оправой очков.

- Ну, опускай трусишки, - э, нет, вот на этих её словах меня всегда окатывает жаром, так, словно в распаханную печь лицом сунулся.

- Ну, что ты, который месяц уже, а всё как в первый раз. Ну, расслабься, - рука её, с холодными длинными пальцами гонит стадо мурашек по моей спине. Пальцы у неё, как...как у Ольги Воскресенской из «Рабы любви». Она вся, как...Ой! Вот, сколько не готовься, сколько не говори себе – «только попробуй!», а всё одно – по предательской слезе из каждого глаза.

- Ну, вот и всё на сегодня, мой Герой! – я точно знаю, так она говорит только мне. По радио сейчас начнётся «Полевая почта юности», а мне надо будет встать и уйти. Уйти молча, как Герою и подобает. Выйти в пустой, тёмный коридор санаторного корпуса и...

Так вот скоро и совсем уйду. От этих длинных, красивых, но холодных пальцев, от этих завитков на шее, от...Уйду и погибну. Точно, погибну! Первым поднимусь в атаку. Побегу по широкому полю и...И пуля пробьёт мне грудь. Вместе с её фотокарточкой и ещё какой-то красной книжечкой в левом нагрудном кармане гимнастёрки. А ей придёт мятый треугольник.

Она будет вот так же вот что-то быстро-быстро писать за этим своим старым жёлтым столом, а нянечка Нина Ефимовна положит на край стола треугольник этот и, закусив угол серого платка, уйдёт. А она...она выдернет

тогда, наконец, эту проклятую иголку из шапочки, встряхнёт вот так волосами, рассыпав их по плечам, и выбежит вон. Она на берег реки побежит. Там у берёзы встанет. Тихо зашумит берёза, рябью подёрнется неширокая здесь Вятка. Нет больше Кольки...

И замуж она, как Мария, потерявшая своего Пабло, больше никогда-никогда не выйдет. Так и простоит всю жизнь в черном платке у берёзы на берегу.

Или нет...

Меня ранят. Как Павку. Я буду лежать и диктовать ей, крепко держа её руку в своей, всё ещё твёрдой руке. Левую. Правой она пишет. Или нет, я... - Иванов! Ты укол сделал? А ну марш в группу, ваши на ужин уже строятся! Не, пусть треугольник лучше не Нина Ефимовна приносит. Голос у неё неприятный.

БАРАК

Жили мы в длинном, на восемь семей, бараке. Из мебели помню огромный, много раз крашенный «слоновой костью», кухонный стол с раздвижными дверцами. Для того, чтобы попасть внутрь два листа фанеры необходимо было с силой толкнуть навстречу друг другу. У меня не получилось ни разу. В углу белёная извёсткой печка с вечно распахнутой железной дверцей духовки. На дверце всегда мои колготки. Они одновременно на дверце и на третьем месте после манной каши и молока, которые я ненавижу.

Колготки. Там, где полукруглый, толстый шов – там попа. Да тут везде попа. Как не надевай, не натягивай эти, цвета жёванной ириски, кишки, как не щипай себя при этом за сонные ещё ноги, они всё равно лезут пяткой вперёд. Ну вот как ещё можно унижить и без того маленького и бесправного человека. Нет, можно ещё конечно постричь его так, чтобы волосы остались только спереди. Это у них «чёлка» называется. В анфас – вроде человек человеком, а стоит человеку повернуться...да ну, о чём говорить. «Высшая» же мера это – такая вот «чёлка» плюс колготки, поверх которых в периоды лёгкого межсезонья надеваются, вот тут внимание, – шорты! Нормальные люди?! Шорты! Вот скажите мне, если кому-то в своё время пришло в голову отрубить от штанов штанины и сделать эти самые шорты, наверное, штанины эти отрубили не просто так? Значит, по какой-то причине, штаны целиком были не нужны? Что мы делаем сейчас? Мы сейчас надеваем колготки, а сверху шорты. Вуаля! Прощай, здравый смысл! Заходи если что. Как? Ну, вот как эти взрослые ведь вроде люди, которым можно запросто кататься на подножках товарных вагонов, курить и даже пить колодезную воду прямо из ведра, КАК они не понимают, что колготки для пацана – вещь сугубо интимная?!

И что, если он, этот пацан, под давлением, ну или там из жалости, и согласился колготки эти надеть, то давайте уж все вместе как-нибудь позаботимся о том, чтобы другие такие же пацаны этого не заметили. Да знаю я, что они сами все в таких же колготках! Знаю. Но мне сейчас в

таком вот нелепом виде идти «воевать» И тут три возможных варианта – вообще остаться дома, но это не вариант, сразу дать в глаз тому, кто первый засмеется, но это тоже не вариант, потому что всё равно придётся идти домой, но уже с таким же, подбитым глазом. А можно сходу сказать, что «когда был в Лесном - видел, там сейчас все взрослые парни так ходят». Работает. Но воевать в колготках последнее дело. Эти вот маленькие колючки от репейника. А у нас весь «штабик» в его зарослях как раз. Нинка орёт конечно, но волосы распутываются, у Сани на свитере вообще никаких следов, а тут... Понять «где конкретно в колготках чешется» - дело на полдня.

Теперь – цвет. Цвет колготок. Вот тема отдельная и однозначно лишённая любых компромиссов. Пацан, если и может, то может носить только вот эти вот коричневые колготки или синие, и никогда розовые или белые. Никогда! Это закон. Преступив который, пописав однажды за пекарней и сверкнув в компании белым, он навсегда станет «бабой» и будет обречён на пожизненные «дочки-матери» вместо нормальной «войнушки».

Да, блин, ребята, не надо мне сейчас вот этой вашей драмы! Ни твоей, мама, с «не было же других, нервотрёп!», ни твоих, отец, вытаскиваний из шкафа книг и тыканья пальцами во всех этих «багратионов-наполеонов» - «Смотри, парень, они тоже все в белых колготках!». Не надо. Мне моя честь дороже.

Скорее бы уже нормальная, взрослая жизнь, скорее бы третий класс, когда на смену ненавистным колготкам под штанами придёт старое трико, со штрипками и вытертыми швами на коленях...

В распахнутую настежь пасть духовки участливо заглядывает, почерневшим местами, зеркалом умывальник. Настоящий «Мойдодыр», точь-в-точь как в книжке. Деревянный на четырёх ножках. Тумба, за которой ведро, закрывается на гвоздик. От бесчисленных покрасок он похож на толстую противную гусеницу. Выше раковина, над ней рукомойник, я до него пока не достаю. С длинного металлического стержня всё время капает , но стоит кому-нибудь из взрослых подойти и слегка поддеть его запястьями -ополоснуть руки – воды нет. Над рукомойником, прямо под зеркалом, полка. Что на ней -мне без табурета не видно. А табурет сейчас у соседей. Гуляют. Так бы во дворе сели как всегда двумя бараками, но на улице ливень и поэтому фестиваль в длинном коридоре. Мне это очень не нравится. Потому что на улице они поют сами, а когда в коридоре - забирают мой проигрыватель. Винегрет в чемоданчике полбеда, мне иголки жалко и вообще спать невозможно. «Червонууууу рутууууу не шукаааай вечорааамиии.» Или «Казачок», а эти «Четыре таракана и сверчок»? Ад. Я тут сверчок. Но на моей стороне «Мойдодыр»! И мы знаем, как за себя постоять.

Перед майскими дело было. Снабженец с Раздельной привёз к праздникам два портфеля водки. Десять бутылок.

На кухне нажарили, напарили, водку, в колонну по два, за столом построили, сами разошлись по работам. Крышечки-«бескозырки» очень легко зубами открываются, на губах горько, внутри радостно. Бутылка за

бутылкой в раковину, «твоеё здоровье, друг Мойдодыр!» ...семь! - будут вам сегодня «травы-травы-травы не успели», девять! – я вам устрою «не дом и не улица», десять! - «поговори со мною, мама» Всё!

Нет! Не всё. Сверху в раковину стиральный порошок. Всю пачку. Вот теперь всё!

Смеялись вечером не все.

- Ты, чипяток, порошком-то всё зачем засыпал?! – обречённо, сквозь слёзы, смотрит на меня сосед дядя Саша Доровских.

- А ты что? – отец смеётся, не спуская меня с колен, - без порошка стал бы пить из помойного ведра?

Водку нашли они потом. Побегать пришлось, но нашли. И праздник был. Хороший был Праздник. Настоящий. И пили, и новую песню пели. «День Победы» пели. Смеялись и плакали, вспоминали, перебивали друг друга и рассказывали, рассказывали, рассказывали...

Когда родилась моя мама, маршал Жуков нарушил сразу две древнейшие традиции, проскакав в фуражке на своём, терской породы, Кумире через ворота Спасской башни московского Кремля на параде Победы 24 июня 1945 года. Первый вздох, первый крик моей мамы совпал со «Славься, Советская наша страна!», несущейся из репродуктора в маленьком роддоме тылового спецсанатория, куда, использовав все свои связи, отправил свою молоденькую секретаршу главный инженер оборонного завода. Здесь стучит в окно сирень и маленький, в пенсне, доктор улыбается моей бабушке: « Дочь у вас!», а там за тысячи километров одно за другим падают на деревянный помост поверженные фашистские знамёна. Воины-победители в перчатках. Закончится парад, и перчатки эти сожгут вместе с помостом...

1 августа 1945 года на маленькой станции Транссиба родился мой отец, а Трумэн открыл тринадцатое, заключительное заседание Потсдамской конференции.

Они все тогда там, в нашем длинном, на восемь семей, бараке почти ровесниками были. Ровесниками той самой, Нашей Победы.

Я не могу...

Я совсем не могу уснуть в полнолуние. На этом медном, холодном и безжалостном жёстком диске слишком много всего. Слишком много, чтобы просто спать сейчас...

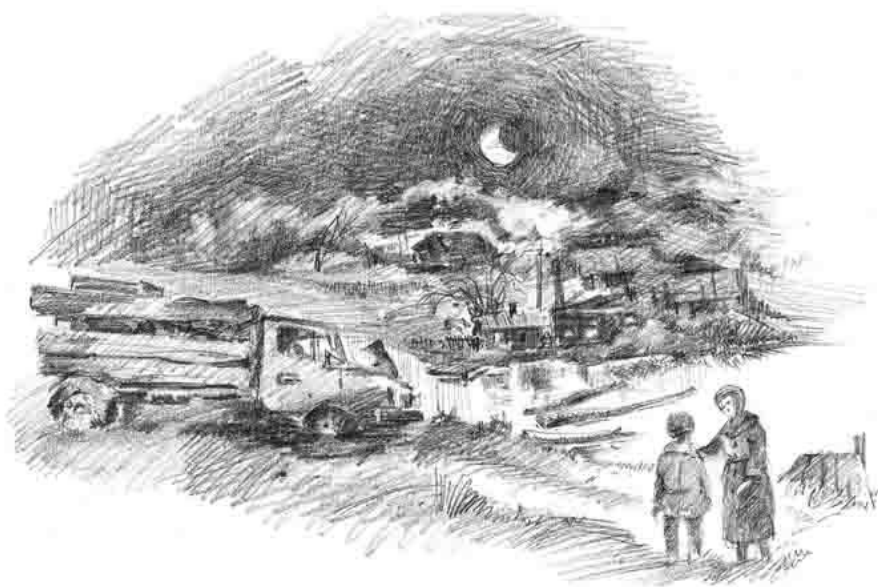
Кухонные ходики то запаздывают на полтакта, то вдруг оглушают нелепой дробью...В моей машине времени чудовищно накурено. Я распахиваю дверцу...

«Кама!» - радостно тычет в грязное стекло шофёр и, упруго спрятав нижнюю губу в небритом подбородке, задумчиво улыбается, кивает чему-то своему – непонятному.

Бортовой «зил» , доверху гружённый нашим скарбом юзом, ломая любопытный ивняк-переросток, скатывается к неширокой песчаной полоске берега.

«Курум пока!» – громко читает водила застывший на лице моей матери беспомощный вопрос. Щёлкает ручником, несколько раз протяжно библикает и глушит мотор. «Щас за катеристом сбегает, он паром и притащит. Да все путём! Давайте руку...»

Мама...милая моя маленькая мама на секунду виснет на его синем, ватном локте и, спустя мгновение, вязнет своими «лодочками» в предательской дорожной глине...



Река – неширокая и не узкая, с торчащими тут и там чёрными топляками – последняя естественная преграда на пути к нашей Новой Жизни...

Мама не знает, что Там, на том берегу. А я знаю. Нет, конечно, она знает самое необходимое. То, что там - в лае собак и в дымках - столбиками и есть он – загадочный «леспромхоз», директором школы которого с завтрашнего дня ей и предстоит стать. Но я знаю больше.

Я уже знаю, Что это за Река, по которой сейчас, натужно борясь с сильным течением, тащит нас к тому берегу маленький сплавной катер.

Это – Граница, однажды нарушив которую, я навсегда оставляю за ней своё детство...

Огромные деревянные ящики повсюду во дворе, старые газеты вместо штор на окнах.. «Битва за урожай», «...в закрома Родины»... «...другие официальные лица...». Водила с двумя леспромхозовскими прощаются с мамой, наотрез отказываясь от нехитрого вознаграждения. Проходят, закуривая и не замечая меня, к калитке: «Ёбнутые какие-то! У них во всех ящиках книги! Тяжеленные, блядь!»

«Дык – училка, хули...»

«Не училка – директорша!»

«А-а-а, – один хуй...»

Иду к дому и взбираюсь на крыльцо. Сквозь редкий, но крепкий штaketник приличный кусок улицы отсюда – как на ладони.

Завтра в школу. И не просто, а в настоящую! Где у каждого класса есть своя классная комната, где не одна, а сразу много и разных учительниц.

«Ма-а-а-м,» – кричу я в приоткрытую дверь, - «а третий класс – это ещё начальная што ли школа считается?»

Но отвечают почему-то с улицы и, явно невпопад:

«Эй, маленький директор, готовь репу! Завтра все пиздюлины – твои!»- рыжий пацан в синей болоньевой курточке прицельно плюёт в ржавый почтовый ящик на, теперь уже моей, калитке. Приличная «восьмёрка» на заднем колесе его велика наполняет пустынную улицу торопливым «шорк-шорк-шорк»...

Это Толик Ефимов. Через десять лет его привезут в цинковом ящике. Душманы отрежут Толику голову. Потому что «шурави-Ефимов» не захочет сдаваться и подпускать их к уже мёртвым своим ребятам в дырявом бэтэре. Мать Толика – тихая конторская женщина сойдёт с ума, потому что до Толика два его старших брата вернутся из Афгана точно в таких же цинковых гробах...

Но пока у Толика – бритые виски, «восьмёрка» в заднем колесе и такой удар правой, после которого завтра я не сразу пойду домой...

Я буду в туалете застирывать свою белую рубашку, которая сейчас вон – висит ,поглаженная , вместе с брюками в моей новой комнате. А Света, та самая Света, которая ещё не будет знать, что это она – моя первая любовь, подскажет мне замазать оставшиеся следы крови мелом...

А ещё через неделю Толик станет моим лучшим другом. Раз и навсегда. И это с ним всего через несколько лет мы твёрдо решим стать капитанами дальнего плавания и объехать весь-весь мир и увидеть всё-всё, а потом, ближе к девятому, когда поймём, что синица – по-любому лучше, изрисуем все учебники и парты сладким и манящим словом «Совтрансавто»...

«Ты чего задумался, малыш?» – мама, обняв меня за плечи, садится рядом со мной на крыльцо, -« завтра у тебя Большой день! Надо хорошенько выспаться. Всё будет хорошо...Скоро приедет папа. У нас всё будет очень хорошо...Ты совсем не хочешь спать?...»

36

БАНЯ

По пятницам и субботам баня в посёлке была
Ходили по субботам в основном.

Часиков с четырёх собираться начинали.
Чистое бельё нателное аккуратно в газеты заворачивалось.
Мыло с мочалкой укладывались в дефицитный маленький прозрачный полиэтиленовый пакет.
Женщины частенько ходили со своими тазиками, мужики с сумками или портфелями, как мой батя.
Вот сейчас щёлкнет замок и... «Потопали, парень?»
Из недели в неделю, каждый год моего детства.
Но сейчас вспоминаются почему-то именно зимние, чёрные вечера.
Снег под валенками, сухой как песок - «хырк», «хырк», «хырк», нос спрятан за пёстрым мохеровым шарфом, с уже успевшими налипнуть сосульками.
Ресницы отца белые и пушистые. Мои такие же.
Наклонил голову, выдохнул тихонько в шарф и плотно-плотно на мгновение закрыл глаза. Открыл, и тёплые слёзы на них, которые тут же снова становятся липкими сосульками.
В пустом морозном воздухе резко-приятный запах сигареты отца.
Дымы над домами слева и справа от нас поднимаются ровненькими, строго параллельными друг-другу, столбиками в чёрное никуда.
Сворачиваем за школой, и вот она уже призывно светится своими, на три четверти закрашенными зелёной масляной краской, окнами.
Баня.
Пятачок в окошечко женского отделения , и серенький, неровно оторванный клочок бумажки с синим штампом, падает тут же в ведро с мусором. Мне – пока бесплатно.

В предбаннике людно и гулко. В нос бьёт кисловатой прелостью и распаренным берёзовым веником.
«Парень, у Юзика вон свободно, держи портфель!»
И, пока отец шумно и по очереди приветствует оголённую общественность, проталкиваюсь между двух заваленных шмотками лавок.
Однорукий, из бывших сосланных и оставшихся тут «лесных братьев» Йозеф тычет красной культёй в вешалку – «Вон, два гвоздя как раз свободных!»
Раздеваться быстро не рекомендовано - необходима какая-никакая акклиматизация, но и мешкать особо тут ни к чему. Шапку на гвоздь, пальто на второй. Всё – занято! Батя может не торопиться. Следующая задача, и каждый раз – как в первый раз, - «забить место и два тазика».
Тихонько, стараясь не поскользнуться на выскобленных решетчатых настилах, устремляюсь к заветным кранам.
Один есть!
«Николаич! Мой бери вон, я веник замочил уже, мне не надо!» - приходит Витькин дед на подмогу.
Всё! Теперь место...
На широченных, посеревших с годами, лавках сидят по шестеро , втроём – спинами друг к другу.

Во! Вот тут у кранов прямо и примостимся.

Ополоснуть тазики кипятком – рраз! Отцу – погорячее, мне – терпимо, живём!

«Айда, погреемся, парень!»-лёгкий перегар отца в ухе, значит сплавщики уже успели угостить.

Не мочить себя перед парилкой – первое неписанное правило.

Тяжеленную, уже непонятно чем обитую дверь, как быстро не распахивай- всё равно услышишь неизменное – «Бегом, йобанный в рот!!! Весь пар уйдёт нахуй!!!»

На полки сразу не лезть – второе, там же и теми же неписанное правило. Постоять – оглядеться. На четвёртой, самой верхней полке – ад крошечный! Вымороженные за неделю, от постоянного лазания по груди в снегу, вальщики хлещутся «до первой крови». Время от времени кто-нибудь из «основных» проворно спрыгивает на пол и, заграбастав плющенный местами коврик кричит оставшимся наверху, туда где еле светит забранная в ржавую решётку лампушка, - «А ну, лягли, блять! Щас я вам блять накачу!!!»

Ловко краем ковша распахивает тяжелую чугунную, с красивыми буквами «ПЧЗ», дверцу кирпичной печи, черпает воды из тазики и с оттягом швыряет её на зловеще краснеющие камни-гладыши.

«Ввву-у-у-х!» - сказочно белой, испепеляющей всё, струёй пара отзывается печь.

«Ахуел что ли?!! Михалыч!!! Сам сюда давай теперь!!!» - несётся тут же сверху.

Детская расхожая хитрость – отсидеться во время всего этого буйства на промежуточной второй полке между волосатых, по-разному пахнущих, ног до первого поту, а потом незаметно наклеить себе на лопатку измочаленный берёзовый листик. И в таком вот, вполне геройском виде, расслабленно проследовать через всю мойку в предбанник, сесть на лавку, свесить голову, руки положить на колени и утомлённо харкаться в пол – дескать –«Это пиздец, как я сёдня того!!»

После первого поту – мойка с пристрастием. По очереди, деловито трём спины друг-другу, передаём мыло.

Потом в парилку –«по второй», чтоб уже наверняка.

И снова отсидеться в предбаннике.

И вот он – «звёздный час» «правд», «трудов», «известий» и «комсомолок»! Вещи распаковываются осторожно, газеты – под распаренные задницы и под ноги. Буковки смоем потом – ещё успеем, а на ступнях – всё равно не видно...

В углу хлопает крышка на двухлитровой банке с бражкой – «Ух, дядь Вань, хороша у тебя овсяночка-то!!»

«Мне-то оставь! Припал, бля!!!»

Торсы, руки, спины – Третьяковская галерея! От банальных «КЛЁН» и «Не забуду...» до подлинных образцов искусства тату. Вон, у отцовского

сменщика – бесконвойника Червячины – синий чёрт на правой ягодице с лопатой угля. Червячина ходит – чёрт мечет уголёк в топку.
На отце – ни буковки – «Не дело это, парень! Сиженым – можно, нам с тобой – ни к чему»

Отец после парилки, с улицы только что – снег в волосах – «Хорррош-о-о, парень!!!» и, снова бегом в парилку.
Потом курит, смеётся, пьёт с мужиками бражку, «режется в буру»...

Домой часа через три, вразвалочку, опустошённые и одухотворённые:
«Парень, ты уроки то сделал?»
«Бать, я завтра. Успею же»
«А дров наколот сегодня?»
«После школы сразу. До понедельника-то хватит. И воды флягу привёз»
«Молоток!»

СВЕТА

- А давайте тогда, - говорит, - Коле бойкот объявим, раз он свои личные интересы выше общественных всегда ставит и вообще о себе слишком много понимает!

А костёр всё никак не разгорается – спички отсырели у всех и жрать хочется, и уже не смеётся никто над тем, у кого как в животе урчит.

- Ну, кто за?! – спрашивает.

И вот двенадцать варежек, одна за другой, взмывают неуверенной стаей над поляной.

- Вовчик, и ты тоже что ли?! – прячу красный гэдээровский термос в старую противогазную сумку.

- А чо я?? Я...как все... - стук-стук валенком об валенок.

Любовь Александровна смотрит на меня победительницей. Теперь это снова ЕЁ класс!

«Надолго собаке стеклянные яйца?» - ухмыляюсь про себя, любясь из подлобья её вишнёвыми от мороза щеками, выбившейся из под заячьей с завязками-помпонами шапочки прядью пшеничных волос. Люблю её. Снится мне. Только её и представляю, когда...Ненавижу суку! – натягиваю штаны от комбеза на валенки.

- Акела промахнулся! – пытается шутить Толик Ефимов.

- Да пошёл ты, недоделанный, - плюю с оттягом во всё ещё чахлый костерок.

- От псас ты у меня и зубы свои туда же вывалишь, - беззлобно цедит Кучер.

Ему неуютно сейчас очень. Неожиданный поворот. Не он, штатный классный хулиган и залётчик, а я, отличник и директорский сын, сейчас вдруг оказался в изгоях.

Огрызаться бесполезно для здоровья. Зубы мне идут. Молча встаю и шагаю в снежную целину мимо оставленных в глубоком снегу следов моих одноклассников – «много чести» к высокой железнодорожной насыпи. Идти трудно. А надо идти легко. Под немигающим прицелом тринадцати пар глаз. Едва успеваю выбраться на насыпь, начинает валить снег. Ловлю языком огромные мягкие хлопья. «Бойкот», мать вашу! В прошлом году, на зимних каникулах, ездили в район. Там третий состав областного драмтеатра устраивал как раз шефские спектакли. Спившиеся дяди и тётки бойко скакали по бутафорским партам и вопили на весь зал: «бойкот! бойкот!». Спектакль вроде так и назывался. «Бойкот». Слово-то какое! Трейдюнионы, лейбористы блять. Костра разжечь не могут, а туда же. Посмотрим завтра...

Идти становится всё труднее. Насыпь совсем замело, и где шпалы – непонятно. Приходится выверять шаг, чтобы не соскальзывать и не попадать между. Посёлок уже слышно. Пойду чуть быстрее – успею к «Утренней почте». Возьму книгу и заберусь под плед. А вы сидите там, в тайге. Кто вас смешить будет?! «Колька, а расскажи...Колька, а покажи». Уроды. Перед самым посёлком неожиданно для себя самого оглядываюсь. Тут же сильно сжимаю заиндеветшие веки, тепло течёт по щекам. Метрах в ста от меня, не больше, ссутулившись бредёт маленькая фигурка. Кто это? Красная вязанная шапочка. Света??? Всегда тихая, маленькая Света. Но как? Почему? Шёл я быстро. Значит, она пошла сразу за мной. Что там случилось? Что могло произойти за несколько каких-то минут?!

Топчусь пару секунд, не зная что делать и вдруг так же неожиданно, как обернулся шагаю ей навстречу.

- Ты чего здесь? Почему ушла?

- Я с тобой хочу быть...всегда.

- Ты же знаешь «правила», завтра с тобой же тоже...

- Мне всё равно.

КАПИТАН

Классе в третьем коротал я лето у бабушки в посёлке побольше, где даже стричься в «Доме быта» можно было, а не просто дома, как у нас

И вот сижу я за фикусом пыльным, плутаю взглядом в лабиринте линолеумном, очереди своей дожидаясь, а тут, как раз, как «В рабочий полдень» передавать начали, он и вошёл.

Высокий, в сапогах и фуражке.

Капитан.

В зал заглянул, походил туда-сюда, и сел у окна «Советский экран» листать.

И представил я вдруг, что вот сейчас, ну вот в этот самый момент, рота его тяжёлый бой с превосходящими силами противника ведёт. А он

вырвался вот буквально ненадолго, ну, чтобы в полный порядок себя привести, чтобы и умереть за Родину нашу не стыдно бы было, так вот замерев с пистолетом в откинутой правой руке...

И зуммер очень явственно услышал я. И увидел синие пульсирующие жилки на седых висках комполка: «Где капитан Васильев?!» И бойцов, которые...



«Ну, проходи!» — вышла из зала тётенька в розовом переднике.

Я встал, сделал пару шагов. Да нет, один, не больше. Развернулся, подошёл к капитану и сказал. Да, так и сказал. Я сказал: «Товарищ капитан, Вы идите, пожалуйста, сейчас. Я же не очень тороплюсь!» Капитан захлопнул журнал, щёлкнул жёлтым ногтем по треснувшей лакировке столика, решительно поднялся: «Ну, спасибо!» и пружинистым шагом вошёл в зал. А я снова сел за фикус.

... и бойцов, которые замерли в узком окопе в ожидании команды «В атакууууу!» снова увидел я. Последней, может быть, в их жизни команды. И даже наверняка последней, вон, слева «тигры» разворачивают свои длинные дула.

Минут через сорок я прошёл по чёрным капитанским волосам и сел в кресло.

Да всё я знал!

Я знал, что нет, и не может быть никакого боя.

А что рядом, в посёлке Котчиха обычная зона. И, что капитан, конечно же, оттуда. И что сейчас он, набрызганный шипром из пузатого с резиновой зелёной грушей флакона, наверное, уже щупает в тарнике подавальщицу из привокзального буфета. А она, упершись хлопчатобумажной белой спиной в деревянные ящики из-под лимонада дюшес, смеётся, вот так вот, очень противно по-козы...

Раньше в Песковке с оркестром хоронили.

Бабушка жила в трёх домах от края посёлка. А там вон, во все окна видать, пустырь огромный, пыльный а сразу за ним и кладбище. В красивом, высоком сосновом бору.

Так что ничего не пропускали.

Первым появлялся барабан. Гулко ухая, он катился через огороды, от из избы к избе, заставляя дворовых собак замолчать на время и присесть с задумчиво-рассеянными мордами.

Потом истошные духовые, цепляясь за штакетник, неслись через огороды. И, наконец, "Бздынъ-бздынъ!" - мятые, медные тарелки поднимали чёрное облако ворон над кладбищенскими соснами. Бабушка незаметно крестилась, дед ворчал: "Опять вона...волокут кого-то..."

Летом окна во всём доме нараспашку. Толстый шмель путается в кружевной занавеске. Смотреть через неё забавно. Вся улица, как в тетрадке по математике, расчерчена на маленькие квадратики. "Из пункта А в пункт..." - ползёт по квадратам неспешная процессия. И вдруг в один миг всё становится чёрно-белым и только маленькое пятнышко, как в фильме про легендарный броненосец, продолжает краснеть во главе колонны. Притихший в занавеске шмель кажется мамонтом, а вся процессия муравьями, катящими впереди себя красную личинку. Или гусеницей. Вон - солнце отражается на миг в медных тарелках, и она эта гусеница блестит, ворочает своими голодными глазами.

Посёлок большой и хоронят здесь каждый день, а то и не по разу за день, но к жуткой музыке этой, от которой моментально что-то больно сжимается в животе, привыкнуть невозможно.

Она, эта музыка, заставляет меня, без пяти минут пионера, моментально поверить в то, что и Ад и Рай, оба они здесь - под этими вековыми соснами.

ПРО ГЕРОЕВ И ЛЮДЕЙ

Я героев-то в жизни немного видел,
но те, которые встречались навсегда запомнились.

Сашку Трушникова как всех провожали.

Два дня пили всем посёлком. Потом стригли во дворе. Наголо.

Хипповские пряди падали в грязь и курицы брезгливо обходили их.

Мать его, учительница школьная, зашила, как положено, две картофелины по углам вещмешка, мужики ностальгировали тут же на старом Сашкином крыльце, тыча в небо окурками «главно дело-мужиком будь!», «как сам себя поставишь -так и будет, Саня!».

К пяти так ,всем посёлком, и пошли на «катер».

Впереди Вовка Бисеров с гитарой: «чинарик, я нашёёл чинарик. Где-где? В унитазе на газете!», потом мужики какие-то, мать с подругами, нас-толпа и Саня с девушкой.

Саня на катер прыгнул и ушёл сразу. Ну, туда, за крышку двигателя. Там нормально ехать можно. И курить, да и тепло хоть.

Вроде и не попрощались. Так пошумели, помахали, покричали в жёлтую пенную волну, да и расходиться стали.

Жили они через дорогу.

Зимой уже мать Санина зашла как-то. С моей на кухне шушукались.

«Коль, где атлас у нас?»

Ну принёс. Что я не знаю, где атлас у нас.

«Вот тут, вот она Кушка-то эта, ага. Да чего хоть пишет-то?»

«Да ничего мол нормально всё, шоферит, говорит. Ой, Петровна, а я прям вот спать перестала. Про это-то как подумаю, про (совсем шёпотом) про Афганистан-то этот.»

Так и писал все два года «шоферю мол, нормально всё».

И вернулся как-то незаметно.

Не десантник, не морпех, что в нём интересного?

И опять пили всем посёлком. И даже драка была.

И уже новых солдат провожали, и новые песни пели.

А тут раз! по зиме как-то из району сразу две «волги» приехали. И на продмаге объявление вывесили – мол, в 19:00 сегодня быть всем.

Ну пришли все, не часто такое бывает.

Подполковник на сцене к трибуне вышел, в зал посмотрел так долго и говорить начал. Сначала спокойно вроде, а потом торжественно так. Как в телевизоре. Тут и семечки грызть перестали.

«За мужество и героизм» - говорит-«проявленные при исполнении воинского долга в демократической республике....наградить Трушникову Александра Викторовича «Орденом Красной Звезды», а также...

Ну все на Саню заоглядывались. А он сидит красный весь и в пол смотрит.

И тут в тишине полной голос матери его вдруг: «вот ведь гааааад, а!!! ведь чувствовала яааааааа!!!» и тут же «Сашаааааа, Сашенькаааааа моооой!!!»

Даже укол, говорят, делали потом в библиотеке.

Звезду, к пиджаку было прикрученную, тут же по клубу пустили. Красивая. Тяжёлая. А афганскую медальку и рассматривать особливо не стали. Не было у нас таких, и не надо...

ПРОПАЩИЕ

Они появлялись из ниоткуда,
и исчезали в никуда...

Сначала соседки тянули шеи, стараясь разглядеть через неровный штакетник "кто это там у Гальки дрова колет?"

Потом мужики, шаря взглядами по запястьям, просили закурить у колодца - "да не, вроде не урка."

И, наконец, ожидаемый всем посёлком, "выход в свет" - в клуб "на картину".

Счастливая Галька крепко виснет на его сильной руке.

Белый отложной воротник, гладко зачёсанные волосы, расчёска в нагрудном кармане пиджака.

"А до кино ещё время есть",- курит один у берёзы.

Ночами подмигивает сигаретным огоньком с галькиного крыльца далёким звёздам.



Но вот...

Но вот, с каждым новым днём, всё дольше и дольше задерживается у калитки, взглядом оглаживая недалёкий камский горизонт и, спустя какое-то время,...едет "становиться на военкомовский учёт в район".

И всё...

С месяц ещё соседки валят грудями галькин забор:"Ой, девка, больно жалко мужика-от, экий баский был, и по дому, гляди-ко всё вона делал..." и всё забывается...

Пойдёт корабельная сосна с последней ледяной камской шугой крушить окоченелые берега, заборы с сараями из чёрных сделаются серыми,

зашуршит-зачирикает под крышами, и в другом уже посёлке стукнут в одинокую калитку: "По хозяйству может чем помочь? Мне переночевать только..."

ЛИЧНАЯ НЕПРИЯЗНЬ

Вот ведь просто органически не выношу комсомольцев. Тех самых - настоящих, бывших аппаратчиков, имею в виду.

И они - суки это чувствуют как-то нюхом своим особым, ленинским и платят мне тем же.

А не знают гады, что у меня с ними сугубо личные, давние счёты...

Было это в те стародавние времена, хотя это кому как

Короче, году этак в 82-м ловит нас классная наша руководительница за женской баней и с такими словами сигареты у нас отбирает: "У вас, - говорит, - мальчики пиписьки уже в банку майонезную не входят, а вы всё в галстуках красных тут отдыхаете. Короче, - говорит, - давайте-ка завтра же с утренней баржей на большую землю, а оттуда в райцентр - в ленинский коммунистический союз молодёжи вступать!"

Мы - ей, а как же мол контрольная по алгебре, к которой готовиться не перестаём буквально, а она отрезает сурово - "Освобождаю!"

Делать нечего, дырку в стене бревенчатой скомканным "Огоньком" старым заткнули и пошли про ордена и принцип демократического централизма учить...

Три часа на барже ржавой пролетели мигом одним за "дурачком" и преферансом со сплавщикми. На те деньги, которые после этого ещё оставались взяли на берегу два "огнетушителя" и в четыре свистка (девки отказались) выдули их в, насмерть усранном, автовокзальном нужнике. В автобусе (ехать 2 часа) трижды, с переменным успехом, бились с "совхозными", всех победили и, нажравшись перед самым приездом лаврушки (чтоб не шмонило особо), выгрузились у "большого дома".

Галстуки наглажены, карты и сигареты оставлены в гардеробе, в карманах самые ультра-самые-модные (не такие как у всех лохов) комсомольские значки - маленькие-маленькие, как капельки крови!

Поднимаемся по красно-ковровой лестнице... Девки трепещут, сознание буквально теряют, всё херню какую-то переспрашивают... Первый бал, прям!

Приглашают в зал. Стол посередине, с серьёзной комиссией за ним. Давайте, мол, рассаживайтесь у стены и по одному к нам. Допросили, выгнали.

За девок всё страшнее. Еле живы подружки дней наших суровых от волнений и переживаний. Вот комиссия расходиться стала. Тут секретутка главного нас войти приглашает.

Главный - маленький, холёный, явно - не из наших таёжных, а скорее за активность какую неумеренную в края эти заколдованный, очень органично за столом большим в одиночку смотрелся. Только не в духе был от чего-то. Встал нам навстречу. Говорит, девочек, мол, сначала, давайте. И стал им, что-то там в косички пшеничные бормоча, значки к ,успевшим уже вполне оформиться, титькам прикидывать.

Мы поодаль молча стоим. И вот доходит очередь до Ларисы Кияновой. А у Ларисы...как бы это сказать-то... Короче, с её лифчиком два бэтээра незаметно на Кабул опустить можно было легко. Титькой в жопу и нокаут, короче! Такая Лариса.



Ну вот, доходит очередь до неё. Упырь этот запыхтел, заподнимался на цыпочки , начал булавкой значковой в ларисину гордость целиться.

Ну тут меня и прорвало. Сдуется, говорю, щас Киянка наша как шина белазовская, нах! Вроде и сказал-то тихо. Тише некуда. Только братва-то с утра самого с ершом в жопе - им, палец покажи - уже готово. Хохотнули не по-детски, короче. Упырь аж побелел весь мгновенно. И даж затрясся вроде. "А ну вышшшли все отссссссюда!" - зашипел. "А ты (это мне) ты останься!Подойди! Фамилия? Где характеристика?"

Бормотушный кураж стремительно ушёл в пол, прям через красный ковёр на первый этаж. Сжатым в кулаке заготовленным значком шустро сдал клинический анализ крови в кармане.

"Ты что себе позволяешь, ублюдок леспромхозовский?!! А?!!" - очень тихо и очень-очень зло надвигался на меня Упырь.

"Кто ублюдок-то, а чо я сказал-то, а чо я..." - попытался было я противостоять предводителю земской молодёжи.

"Ты понимаешь, щенок. Что я с тобой сделать могу?!! Понимаешь ты или нет своей тупой, бритой башкой?!!! Что все твои "пятёрки и сочинения лучшие" не спасут тебя?!! Что я могу сделать так, что ты ВСЮ ЖИЗНЬ свою поганую говно жрать будешь в дыре своей вонючей?!!! Это ты понимаешь?!!!"

Не, ребята, не буду врать я сейчас. Заревел я. Да.

Уж очень талантливо и живо изобразил Вожак незатейливую перспективу мою...

Молча, зубы сжав, закапал я на выдавший виды ковёр...

"Понимаешь или нет?!!!" - не унимался упырь. "Я жду?!!!"

И вот ещё несколько секунд и я скажу те самые слова, с которыми мне потом надо будет жить, и от которых до сих пор хочется замотать головой и заплеваться.

И я сказал.

Я сказал - " понимаю"

"Пошёл вон отсюда!"

И я пошёл.

Перед дверью очень быстро заморгал, стараясь избавиться от постыдных слёз, дёрнул рукавом по глазам и вышел....

"Ну чо? Ну чо там? Чо было-то,.. Колян?" - волновалась общественность.

"Да не, ничо так, нормально! Прикольный ты, говорит пацан, чо мол куда поступать собираешься, ну там всякое то-сё..."

"А-а-а, а мы думали взъебать тебя решил. А клёво ты, бля, - шина белазовская, э-э-э-а-а-а-а-а-а!!!"

Так вот и живу с этим говном в памяти. С этим моим личным позором. И судьба, не понятно зачем, всё время сводит меня с этими комсомольцами...

МОРЕ, МОРЕ

- Он в Архангельске вроде что-то заканчивал, - Кучер приподнимается на кулаках, прищурившись, бегло оглядывает двор - не сечёт ли бабка и лезет в брошенные рядом штаны за "примкой".

Лежать на шифере неудобно, а если бабка заметит, ещё и бесполезно для барабанных перепонки.

Облаков почти нет и наше предпоследнее школьное солнце старается вовсю. Дойти бы сейчас до Камы, с разбегу "на слабо" кинуться в чёрную воду, наперегонки саженьками до топляка на середине, потом назад, попрыгав на одной ноге (вода из уха тёплая, почти горячая) упасть в золотой зыбучий песок. Пересыпать его из кулака в кулак, по шуму мотора узнавать на спор чья лодка...

"... две любви - земля и море,

Он без них прожить не может, с ними счастлив он и горд" - возвращает меня на шифер Антонов из кассетной "Весны".

- ...или в Мурманске, - белёсые колечки дыма у Кучера выходят маленькими, мохнатыми.

Это он про Серёгу Яковлева, Ленки нашей одноклассницы брата. После флота на море так и остался, мотористом вроде "загранку" ходит. Зимой вон приезжал - джинсы "монтана", куртка "дутьш", Ленка до весенних каникул пузыри из бублегума дула, а отцу вообще, говорят, пиво баночное привозил.

- Не, мотористом не хочу я, - тянусь за сигаретой, - капитаном, ну или штурманом там - да. В Питер ехать надо, в АВМУ поступать, в «макаровку». Видел справочник у меня? Поедем?

- Да, мне-то какая «макаровка»?! Мне б эту-то бурсу как-то закончить, - переворачивает кассету Кучер.

- Так год же ещё остался! Я подтяну тебя. Слышь?! - картинка, на которой мы с Кучером, оба в белом, стоим на капитанском мостике, а лайнер наш входит в сингапурский порт, ярким стоп-кадром перед глазами, - А, Вить? А ты меня драться научишь! А?

- Да как я тебя драться-то научу?! Это ж не курить...драться-то! Да и чо ты своими кулачками надерёшься-то, - засвистел окончаниями Кучер, - твоими пальчиками только на пианине вон, или по карманам на автовокзале шарить. Ты чо, обиделся что ли?! Да не ссы ты, я за тебя и так любому пиздючек нарисую.

Кучер здоровый. На майские со сплавщиками взрослыми дрался. Даже завалил одного, а тот карате знал.

- Вииитя, вы всё там? - бабкин голос со двора.

- Не ещё! Два листа осталось, - плюёт на кончик окурка, - давай, Колян, вон этот вот вверх двигай. А по мне так моя мысля лучше! Водилами, оба, на «Совтрансавто» - и та же загранка. Вот те и джинсы, вот те и жвачка! Ты спишь-я рулю, я рулю-ты спишь!

- Чо вы там ржёте-то как кони?! Шифер мне не подавите, так головы и поотрываю все! Вечер скоро уже, всё копаются там! – режет воздух бабкин голос.

« Над тобой встают, как зори,
Нашей юности надежды...»

УРОКИ ИСТОРИИ

Два последние года моей школы были очень смешными.

Нет, первые восемь я тоже не скучал.

Но эти были особенными.

Всё началось с того, что вместе с окончанием мною восьмого класса закончилась и сама школа. Других в нашем посёлке-зоне не было и я уехал к бабушке.

В её посёлке был большой завод, на нём лили из чугуна гранаты эф-один, кинотеатр, парикмахерская и целых две школы.

Бабушка на радостях купила мне мотоцикл "восход-три-эм" и жизнь заиграла вместе с ним-блестящим новыми красками. Но не надолго. Перед ноябрьскими праздниками в меня наизусть влюбилась самая красивая девочка из параллельного класса. Сюжет существенно осложнялся тем, что в неё уже был безответно влюблён самый сильный мальчик из моего класса. Хотя, как мальчик... Мальчики могут кулаком разбить фару мотоциклу "восход-три-эм", а потом и вовсе оторвать её? А этот мог. Короче, не били меня только когда я спал. А спал я плохо, потому что когда я не спал, меня всё время били. Когда я понял, что скоро привыкну, уехал. Попрощался ночью со своим обезфаренным конём и уехал. Ну да, назад, к себе в посёлок-зону. А когда моё молодое, подвижное лицо снова стало похоже на фотографию в комсомольском билете, родители вспомнили, что в двенадцати километрах от нас есть село с умирающим совхозом, но со вполне ещё живой школой-десятилеткой.

Село это, бросая вызов Вечному Городу, бежало одной единственной, грязной улицей из тайги в тайгу по семи высоким холмам над извилистой Камой. На одном из них стояла школа, а сразу за ней - интернат для таких, как я. Оставался в нём я редко, - уезжал после уроков домой на порожних лесовозах, либо и вовсе шёл пешком. Фуфайка, кирзачи с отворотами, леспромхозовский подшлемник, учебники - в сумке от противогаза. Уходил я не потому, что мне было плохо в интернате, или от того, что меня мог кто-то обидеть. Нет. В классе меня приняли сразу. И пацаны сельские были вполне дружелюбными. Странно. Жизнь здесь была много хуже, чем в том посёлке, откуда я бежал. Но в ребятах этих не было ни злобы, ни оголтелой зависти, как в тех моих недавних ещё врагах. Наоборот. Меня уважали. Уважали, как лучшего в классе. А уходил я потому, что как-то по-особенному начинал чувствовать всё вокруг. Мне хотелось быть одному. Я наслаждался одиночеством. Я пил жадными глотками свою Свободу. Я очень остро, до спазмов, ощущал что-то такое,... что вот-вот должно произойти. Да и уже произошло. Происходило. Я жил своей собственной жизнью.

А одноклассникам своим я платил щедрой сторицей, разумеется.

Самыми любимыми уроками в нашем классе были уроки истории. Учитель наш, Александр Иванович Маликов, высшего образования не имел, работал на энтузиазме и тройном одеколоне. Ещё до первого урока они вдвоём с трудовиком Ефимовым, закрывшись в мастерской, успевали оперативно привести себя в состояние средней негодности. И никто, наверное, не радовался моему появлению в этом классе так, как он. Потому что отныне уроки истории стали выглядеть примерно так:

Александр Иванович захватывал по пути в класс какие-то схемы сражений из учительской. С надорванными краями, на пожелтевших рейках, они вмиг занимали собой всю доску. Маликов шумно дыша одеколоном, долго устраивался за столом, открывал журнал, вёл по нему пальцем вниз. Класс торжественно, как перед премьерой, молчал. Маликов дважды стучал толстым указательным пальцем в журнал, потом, мутно прищурившись, находил меня нетрезвым взглядом и коротко кивал: "Ну, давай."

И я давал. Ой, я давал!

Все, необходимые для пацана моего возраста, батальные фильмы уже были просмотрены и не по одному разу, и поэтому я всегда был в новом образе. Мне было всё-равно какие схемы каких сражений-окружений висят сегодня на классной доске. Ситуацию я оценивал ещё до того, как к ней выйти. Но сначала надо было нейтрализовать Маликова. Поэтому я выходил. Спокойно брал указку. Четко, с расстановкой, читал заголовки схем. Александр Иванович благодарно закрывал глаза...Минуты полторы моего ровного, спокойного голоса немедленно делали своё дело. Маликов, упершись животом в стол, тяжело сопел толстой одеколонной грушей. А я был Жуковым, фон Клюге, Манштейном, Сталиным, Гитлером, Гудерианом. Класс беззвучно ревел. Я с фельдмаршальским достоинством выходил из сталинградского бункера, с грузинским акцентом орал на обосравшегося Ворошилова, тянул до последнего с открытием "второго фронта", я...Звонок. И всегда неизменное "нууууууу, бляаааааа, на самом интересном..."

Маликов кашлял в розовый кулак, потом уже открывал глаза: "Аааа, садись, да, пять. Видели, как надо? О!"

АГАФОН И СОЛНЦЕ

— Агафоон! Агафоон, у тя чо в руках, мухи ебутся?!

Дядя Вася Маевский.

Бригадир наш на посевной.

Недоволен одноклассником моим Сашкой Агафоновым. Очень недоволен. Огромные руки на засаленных ватных коленях. Первые же лучи обращают бензиновые разводы на них в дорогой китайский шёлк. От рук его не оторвать глаз. Не руки, а два макета заповедных мест. Чёрные, местами сбитые, костяшки пальцев — горы. Синие полноводные реки жил опутали их. Но вот, ближе к правому запястью — граница заповедной зоны: синюшное, тонко колотое солнце с редкими лучами и точные координаты: СЕВЕР...

Я курю и пускаю колечками дым туда, откуда вот-вот должен появиться провинившийся Агафон. Туда, где возле самого ельника пашня обрывается маленьким коварным болотцем, в котором плотно сидит сейчас его трактор.

Солнце всё выше над ельником.

И я не верю, что вот ЭТО ЖЕ САМОЕ солнце всего через несколько часов
встанет над площадью Святого Марка...



ТРУБА

А на самом обрыве, за сгоревшей лесхозовской столовой, стояла Труба. Стальная, с приваренными ржавыми скобами, она, заставляя хрустеть шейными позвонками, упиралась еле различимым громоотводом в безоблачное небо нашего детства. Пятьдесят метров. 97 скоб. Самая нижняя на двухметровой высоте. Нам, пацанам, надо было прикатывать чурбан, тянуться, подтягиваться...

Но на первой же скобе «нам» заканчивалось. Каждый оставался с Трубой один на один. Вовка Дежурин вон, из морпехов когда пришёл, лазил. Даааа. С гитарой даже. Флаг привязал к громоотводу и «шизгару» там на краю спел. И Серёга Яковлев тоже. Говорят, поссал даже внутрь. И Толик

Ефимов. Ну и что, что по внутренней стороне скоб... И Кучер тоже. В восьмом уже классе. А я — нет. Я боялся. Панически.

Труба эта была моим ночным кошмаром. Я тысячу раз клялся сам себе, что я смогу, я сделаю. Вот завтра приду, просто залезу и всё. Но тут же, вот сразу же после этой клятвы моей, что-то так противно начинало сосать под ложечкой.



Я тут же отчётливо видел, как на самой середине Трубы одна из скоб отходит внезапно, кроша старой сваркой... как сама Труба, качнувшись вдруг, заваливается в дикую чёрную камскую воду... как отламывается штырь громоотвода, за который держусь я, едва забравшись... как ноги мои соскальзывают со стального узкого края и я лечу в саму эту Трубу... Потом я просыпался и уговаривал себя. Я говорил себе, что всё это глупости. Что смелость и храбрость, конечно же, не в этом. Что это идиотизм - так рисковать жизнью. Ради чего? Зачем? А они всё лезли и лезли. Вон и Вовка уже, говорят... Вечерами я приходил один на камский берег. Подкатывал чурбан, плевал на руки, хватался за скобу, подтягивался. Шаг, ещё, ещё один, и я уже видел и школу, и клуб, и... И назад.

Двадцать лет прошло....

За четыре камских поворота до посёлка Трубу всегда хорошо видно с катера. Вечером того же дня мы снова остались вдвоём. Я и Труба. Я просто знал, что сейчас могу. Просто могу и всё. Легко подпрыгнул,

подтянулся и... спрыгнул на землю. Ни она мне, ни я ей уже были не нужны. Не было сейчас и уже не будет никогда тех Олькиных, Светкиных, Танькиных восхищённых глаз, пацанских похлопываний по плечу «ну чо, бля, мужик, чо!»

КОЛЬКИНО ДЕТСТВО. КОНЕЦ

-Мам, ты извини, что не звонил долго...Как сама?

-Нормально всё...Да,...знаешь, Ира умерла... я на днях узнала. Ира, ну ты помнишь...

-Мам, я перезвоню тебе...завтра...

Короткие гудки. Белые цифры на черных телефонных клавишах. Один, два, три, что я чувствую сейчас? Четыре, пять, шесть...у меня не потемнело в глазах, мне не стало труднее дышать. Семь, восемь, девять, когда я видел её в последний раз? Сколько лет прошло?

Подожди, подожди...да ну глупости, нет, не может быть...Двадцать?

Двадцать лет... Сколько раз за все эти годы я вспоминал её?

Я любил её???

Кем была она для меня? Что сделала в моей жизни? Моя по-настоящему первая женщина, моя первая взрослая любовь в жертву которой я был готов принести всё то небольшое, что у меня тогда было...

Интернат наш размещался в ободранной, отстроенной пленными немцами, двухэтажке. Собственно, мы - интернатские занимали только верхнюю площадку одного подъезда, на первом этаже которого со своей многочисленной семьей основательно квартировал директор школы Колосов. Каждый вечер, сразу после программы «Время», вместе с музыкой «про погоду» он поднимался к нам, закрывал на ключ сначала женскую половину, потом нашу с Саней.

Подобная суровая забота только отчасти была сопряжена с его навязчивой идеей сберечь нас в невинности вплоть до получения официального признания нашей абсолютной зрелости в виде вожденного аттестата. Практически еженедельно свои неумолимые коррективы в наши жизни вносила местная, и без того сложная, «геополитика». Стоило кому-то из наших «леспромхозовских», будучи транзитом на здешнем автовокзале, намять чей-нибудь совхозный бубен, как мы тут же становились незавидными заложниками ситуации.

Интернат несколько раз брали штурмом, подчистую выбивали все стёкла, Колосов палил из ружья в форточку, милиционер из района с удовольствием оставался на ночь на женской половине...

Весна же этого, последнего для нас школьного года, выдалась на удивление спокойной. Практически все местные «авторитеты» отбывали свои, честно

за всю зиму заработанные, сроки, с остальными можно было договориться...

Тёплой и чарующей была это весна...

На пустыре за школой, там, где я играл тяжёлыми пшеничными косами круглой отличницы Оли Корнеевой, всё было усеяно жёлтыми цветами мать-и-мачехи, которых я почему-то совсем не замечал раньше.

Олю я, впрочем, раньше тоже не замечал, но близость выпускного экзамена по химии заставляла на какие-то, совсем необходимые моменты забывать о её неприятном запахе и благостно кивать в такт её «а хочешь в ночь после выпускного я буду твоя до конца. Ну вся. Понимаешь? Понимаешь?»

Совсем по-другому пахла моя вторая зазноба. От одноклассницы Светы, без пяти минут невесты также «присевшего» той весной сельского «аль капоне», всегда пахло парным молоком. Я буквально дурел от этого запаха, когда сидели мы на разогретых за день истощным майским солнцем деревянных настилах на высоком камском берегу.

Соловьям больше никогда не спеть так, как они пели тогда, замолкая лишь с первым тяжёлым ударом пастушьего хлыста... «Ой, Колька, только б Серёга ничего не узнал. Обоих ведь ...»

В общем жизнь наша в эти последние майские дни шла вполне своим чередом. Мы жили, учились и, периодически, боролись, Колосов старательно закрывал нас на ночь, а спустя полчаса на двух связанных простынях мы, не дыша, опускались на грешную землю.

Ужинать мы с Саней ходили в сельповскую забегаловку. Бацилла там была отвратная, но топлива на ночные похождения требовалось немало и со скудностью ассортимента приходилось мириться...

Там же в один из вечеров я увидел Иру...

Саня, поймав мой взгляд, заулыбался над тарелкой.

«Чо ты лыбишься-то, придурок?» – пнул я его под столом, сползая взглядом с пухлых губ прекрасной незнакомки на грудь, которая в ту же секунду сделала французского писателя Мопассана абсолютным реалистом в моих глазах.

«Ей», – стараясь отыскать целую сухофруктину в компоте, начал Саня, – «двадцать пять во-первых уже. Работает в сплавной. Во-вторых ленивый только не ебал её. Во, видал, видал какая у неё фикса! Не дала кому-то наверное – на зуб поставили! Колян, ты чо?! Ты куда?! Колян??!!»

Друга своего я больше не слышал. Я просто встал и пошел. Ну, да, прямо туда, к столу, за которым сидела ОНА, с волосами цвета полированного гдээрзовского серванта, и улыбкой, которая не оставляла выбора. Сидела и пила вино с подругами.

«Девушки, спичек не будет у вас?»

Ира игриво посмтрела на зажигалку в моей правой руке, – «Выпить хочешь?»

Правая верхняя двойка и в самом деле была золотой. Но опешил я скорее от того, что ни эта фикса, ни деланная развязность, с которой она предложила мне выпить ничуть не делали её вульгарной. Нет.

Скорее, что-то забытое, но такое, чего ещё никогда не было, но что точно вот-вот произойдёт – вот что было в ней...

Спустя четыре часа я, рискуя разбудить бешеным стуком своего сердца всё вокруг, мчался под гору, туда, где рядом со сплавной конторой горел единственным окном её общажный домик.

«Тихо ты! Я ж не одна живу...давай тут на крылечке покурим, пока Наташка не уснула...»

Внезапный гул поднятого по какой-то нелепой тревоге истребителя с соседнего аэродрома стал увертюрой к нашему первому поцелую...

«Ух ты, братец!!! Кто научил? ...У тебя уже была женщина?»

«Шутишь!» – соврал я, - «и не одна!»

«Обними меня...»

Я не целовал – я пил её. Жадными глотками. «Подожди, я расстегну заклочку» Я утонул в её волосах. Её запах, её вкус – всё это было каким-то истошно родным и удивительно долгожданным. «Здесь справа порог, осторожно...сюда»

Грудь, живот, бёдра, ноги... «Что ж ты делаешь-то со мной...»

Полуночный истребитель, отгудев за лесом, входил в свой первый вираж...

«Ну иди же уже ко мне наконец...»

Оглушительный хлопок, заставивший зазвенеть стёкла в окнах, швырнул бессонный самолёт далеко за сверхзвуковой барьер, навсегда вырвав меня из беспокойного детства, которого я так старательно бежал...

И в наступившей крошечной тишине моя первая в жизни победа обернулась полнейшим провалом. Всё моё многомиллионное войско любви было внезапно рассеяно прямо перед настежь распахнутыми воротами вождя «противника».

«Ну чего ты..? Ну, глупости...ну всё же хорошо», - кончики её длинных пальцев поползли по моей спине, -«всё хорошо...мальчик мой...обними меня, крепко, крепко...вот так...».

Слёз я скрыть не смог, зарываясь через её холодное плечо лицом в подушку.

«Ты просто устал...всё нормально...хочешь сигарету?»

Во внезапной тишине мне было странно словно заново слышать её, несколько часов назад ещё совсем незнакомый, голос, тиканье будильника, который казалось тоже только что перевёл дух и старается теперь изо всех сил быть размеренным. Огонёк сигареты выхватывает её из темноты. Она сидит спиной к стене, обняв руками колени и уткнув в них подбородок: «Расскажи мне о себе...»

.....

Экзаменов я не заметил.

Проблемы с «моей химией» меня больше не интересовали.

Серебряная медаль меня вполне устраивала.

А каждую июньскую ночь в маленьком домике на камском берегу меня ждала несравненно большая награда...

И вот он – долгожданный выпускной!

«Ты с ума сошёл, мальчик мой, я не смогу с тобой туда пойти!»

«Ты пойдёшь!»

На увешанном шарами и ленточками школьном крыльце нас с Ирой встречает моя классная дама: «Остенбакен, все уже давно там. А вам, барышня, сюда нельзя!»

«Галина Александровна», - пытаюсь сохранить улыбку, не выпуская ириной руки.

«Что- то непонятно? Посторонним, да ещё таким здесь не место!»

«Каким- таким!?!» - силой удерживаю я Иру.

«Мне надо сказать – каким?»

«Галина Александровна, это МОЙ вечер! Вы понимаете?! И я...»

«Твой, вот и проходи. А вас, де-ву-ш-ка, я здесь видеть не хочу!»

«Коля, иди пожалуйста один,» – Ира с силой вырывает свою руку из моей и берёт меня за плечи, -«я прошу тебя!»

«Просто кино!» – перестаёт сдерживать себя классная, - «позорище! Позорище на всю школу. Как тебя земля-то носит, бесстыжая! Поломаешь парню жизнь!»

Ира спокойно разворачивается и уходит.

«Проходи», - сухо бросает мне классная. – « о родителях бы подумал и о характеристике своей!»

Мне сейчас кажется или ирины плечи дрожат? Зачем стою я здесь и чего хочу сейчас?

«Галина Александровна, идите Вы на хер вместе с Вашим выпускным!»

Ветки сирени провисают прямо в распахнутое окно...

От неё кружится голова...

От неё, от любви, от вина, от внезапной моей дерзости...

Её руки на моей груди.

Уперев в них подбородок, она пристально смотрит мне в глаза: «Ты же жалеть потом будешь. Ведь это всего один раз в жизни такое бывает!»

«Ты тоже – только одна»

«Дурачок ты мой, таких как я у тебя знаешь сколько будет?...»

Внизу на реке затарахтел катер. Значит скоро рассвет...

И, значит, скоро, поворот за поворотом, я уеду отсюда...

Далеко-далеко и навсегда-навсегда...

Чтобы никогда уже в этой жизни не увидеть мою Иру...

КУКУШКА

Вот здесь - с железнодорожной насыпи налево. По деревянным, местами тонущим в болоте, настилам. Чёрные доски смешно чавкают, вмиг загоняя под ряску водомерок с головастиками. Ближе к самой бане посуше. Кочки пружинят всё меньше, ивняк внезапно выскакивает на беломошник и тут же путается в стройных, высоких сосновых ногах.

Белый, сухой мох мягко хыркает, но следов не оставляет. В этой таёжной прихожей всегда как-то торжественно тихо. Поселковые шумы и визг циркулярок Биржи отсюда почти не слышны.

Пацаны говорят – долго вот так вот перед Тайгой стоять нельзя. «Заманёт». И она манит. «Давай, Колька, давай не дрейфь! На стук дятла, на скрип старой ели, дави бруснику, пинай грибные шляпы – всё равно не выберут! Паучью тенёту рывком с лица. Пальцы в смоле, потёр – чёрные. Ты понюхай! А??? Стой! Тихо! Слышишь? Кукушка, кукушка, сколько мне лет? ...пять, шесть, семь. Точно! ...восемь, девять, десять...Нет, Колька, это не тебе... Это тем, кто по другую сторону насыпи сейчас в отстойнике на короточках ждёт шмона.

Бригады вернулись с работ. В конце отстойника, за узким в «колючке» проходом «зарядка». В какой-то усталой, измождённой тишине руки вверх, в стороны, шапку долой, похлопывая, постукивания по ватным бокам, сапоги сняли-потрясли-натянули – бегом на Зону! Следующий!

Огромные, в чёрных подпалинах, «немцы» пилят малиновыми языками тяжёлый воздух, не лают. Все ко всем привыкли. Малых сроков здесь нет. «Батя, а они все что ли убийцы?» Отец молчит, значит вопрос дурацкий. Летом ничего ещё. Зимой страшно. Когда валит снег. Я до ста ещё не считаю. Но их тут больше. Из каждого сугробика столбик пара. Высоко – высоко в чёрное – чёрное небо, к мохнатым звёздам. Каждый к своей...

...одиннадцать, двенадцать...О! Это ты, кукушечка, банщику Толику- «Фото на эмали». Столько он здесь. В моей, с дурацкой чёлкой под старой пилоткой, бритой голове это не очень укладывается. Двенадцать! Это ж целых две моих жизни! Мне вот взять и ещё столько же прожить надо – тогда и будет двенадцать...

«Иваныч, моё почтение!» - у Толика в каптёрке, что с торца бани всегда очень вкусно пахнет. Чувствуешь? Махорка, гуталин, чёрный хлеб, чай.. Сам ты «чай»! «Чай»... Чифир, земляк, чи-фир. Вооон она кружка-«чифирбак». Мятая, копчёная на длинной скрученной проволочной ручке.

Толик – бесконвойник. На разводы и шмоны ему уже не надо. Ему тут ещё два года. Или три. Не помню. Погоняло «Фото-на-эмали» Толик приклеил себе сам. Когда он сердился на кого-нибудь, то сжимал большой, колотый синим, кулак и красиво говорил: «От щас один удар и фото на эмали!». И Толику верили.

Баня – место бластное, тёплое. Но в ней самой кроме двух, торчащих из куска кирпичной каменной кладки толстенных кранов с красным и синим вентилями, ничего интересного.

А здесь, в каптёрке мне со стены приветливо улыбается стюардесса в форменной синенькой шапочке. Аккуратно вырезанная из «Огонька», она делит стену над топчаном с пожелтевшими слегка «Крестьянками» и «Работницами». Есть даже пара открыток с актрисами. Они заткнуты за серый плетёный шнур электропроводки. Но мне нравится именно стюардесса.

Она красиво улыбается. И ничего не знает. Она не знает, что за её спиной Тайга. И, что если ты будешь идти по этой Тайге день, потом, другой, а потом и третий – ты всё равно никуда не придёшь... Потому, что если ты найдёшь на карте «Где-то вот здесь, примерно» и потом от этого «Где-то вот здесь, примерно» проведёшь прямую линию наверх – упрёшься в Северный полюс и ни разу, нигде не пересечёшь ни одного названия...

«Для этого надо хорошо учиться, парень!» - ловит мой взгляд отец. Это он про девчонок на стене. Шутит. Мне нравится как шутит мой батя. Всем нравится. Толику тоже. Сейчас они выпьют. «По грамульке». Потом батя выпустит белого джина из пустой водочной бутылки и они с Толиком будут говорить про «Кёниг». Калининград. Красивое слово, морское, немного солёное.

Про море Толик знает всё - раньше ходил мотористом на большом корабле. И сюда, в гости к нашему Куму прямо с корабля и попал. Вернулся из рейса чуть раньше обычного. Жена не одна. Расстроился и ...два «фото на эмали». Мимо «вышки» на сигарете проехал. Аффект засчитали. «Держи!» - в руке Толика деревянный, крашенный чёрным нитролаком «маузер» - «неделю ковырял. Нравится?» «Дядь Толь...» «Да ладно тебе! Бей белых, пока не покраснели, бей красных, пока не побелели! Или как там, Иваныч? А?»

...тридцать девять, сорок, сорок один...

Это только во сне, Коля, здесь всё так же, как было...

Оградку по ранней весне вроде красили, а она вон, - всё ещё краской пахнет.

Муравьишко бежит по кресту, петляя в трещинах, стопка с водкой никак не встанет в жёсткой и густой, что твой, коротко стриженный, волос, траве на крохотном холмике - "баба Лиза что ли такая маленькая была?". В чёрном платочке с пожелтевшего овала смотрит она на тебя сейчас. Нет. Ты на неё. "Колянко!" Вздрагиваешь. Её голос. Ваши земные жизни здесь пересеклись всего на три года, а голос ты помнишь.

А пальцы её помнишь? Всю жизнь на "ундервуде". Печную дверцу спокойно открывала рукой, брала уголёк и прикуривала свою папиросу. Курила до последнего дня. Курила и читала. "Девки, ну-ко Оливера Свиста дочитайте мне! Глаза не видят совсем!"

Одним солнечным, февральским утром мимо вот этого вот самого дома, где потом пройдёт вся её жизнь, откуда уйдут на войну и уже никогда не вернутся оба её сына и муж, мимо дома, где спустя много-много лет, наклонившись над моей кроваткой, она скажет: "А вот у нашего Кольки кортик - девок портить!", мою прабабушку Лизу повезут на расстрел. Замешкаются колчаковские обозы со штабом вместе, не успеют уйти. Кого-то порубят прямо здесь у церкви на высоком холме, а этих раненных и недобитых вместе с онемевшей от ужаса крохотной Лизонькой - машинисткой и любимицей штаба, растолкают прикладами по саням и повезут к Волоковым. Расстреливать.. «Как это – расстреливать? А ты тогда как появилась, баб? Мам, а ты? А я? А кто повёз? Наши-красные? А она за...» «Парень, сходи, погуляй сейчас», - батя снимает меня с колен. Сам он, пристроившись на холмике рядом, шарит по карманам в поисках сигарет. Над самой дорогой висит жаворонок. Под панамкой кузнечика нет. Сандалии ненавижу. Холмик, над которым сейчас закуривает мой отец, могила моего первого неродного деда. Своего второго неродного, но самого родного из родных, я ещё не знаю. Он шоферит сейчас где-то в тайге. Завтра привезёт бабушке в рабочую столовую букет сирени. Оставит на подоконнике. «Марьяндревна!!! Твой ухажёр опять приезжал!» А дед Саша крут был. Сталинская премия за эшелоны под бомбёжками. У девок шкафы от нарядов ломаются. С охоты пришёл – глухарей полкухни. Ставит меня на стол – «Родной ты мой, Колька! Кууууда?! Не надо никуда ходить!» - казан подставляет. Как есть, в него и писаю. Сестру мамы Таньку, родную его дочь, рвёт тут же у печи – «Пшла вон, дурра!»

Красненькое под листиками. Земляника. Крупная и сладкая очень. Ещё одна. «Сынок, нельзя ягоды с могил» - мамина рука...

Жуткая вьюга. Дверь «буханки» всё время норовит закрыться на ухабах. Мамино лицо. Не её, незнакомое. Знаю – вижу его последние минуты. У кладбища встали. Занесло всё – не проехать. Гроб ставят на санки. Слезы на рукавах куртки моментально вырастают мутными ледяными столбиками. Пахнет костром. Зэки грели землю, чтобы выкопать могилу. Мама, я же вообще один теперь...

На обратной дороге к отцу. Водиле – «Я на пару минут»-кивает. По пояс в снегу. Тут же вот вроде был. Вот дорога делает поворот, значит вот здесь. Батя, прости меня, где ты мой родной? Смеется с бетона «всё нормально, парень». Ангел наш всехний, где ты? Где ты наш Ангел, шепнувший смертельно раненому колчаковскому офицеру – вытолкать мою, нашу, Лизоньку тогда из саней?